

Юлий МАРГОЛИН

НАД

МЕРТВЫМ МОРЕМ

ОГЛАВЛЕНИЕ

Урок Марголина	5
Тель-Авивский блокнот	31
Русские в Израиле.	86
Против шестой сикоморы	101
Сон о свободе	107
Возобновление иврита	113
Над Мертвым морем	126
По горам, по долам	133
В дороге.	135
По лесам Израиля	136
Иодфат (Иотапата)	139
Уроки прошлого.	141
Иерусалим – обитель мира	151
Самый сильный протест	153
Мегалополис Тель-Авив	156
Исторические дни	164
Царство Божие далеко	169
Чем это кончится?	174
В третьем десятилетии	176
Дело Бергера	182
Почему?	193
На кладбище в Цфате.	203
Маленькая одинокая страна.	217
Двадцать лет спустя.	226

УРОК МАРГОЛИНА

Памяти Евы Ефимовны Марголиной

Летом прошлого года я была в этих комнатах в последний раз. А до этого забегала, но не часто, хоть и всегда с удовольствием, выслушивала сетования хозяйки на редкость посещения, извинялась занятостью, жарой, семейными трудностями, и уже тогда знала, чувствовала, как буду жалеть и сокрушаться потом...

В тот последний мой визит, когда мы договорились издать вот эту самую книжку, Ева Ефимовна жила уже из последних сил. Грузно лежала она на кровати, немного наискось, раскинув усталые полные руки. Почему-то приходило в голову сравнение с перебарывающим волны пловцом. Она с трудом удерживалась на поверхности, предчувствуя и зная бездонность глубин, готовых ее поглотить, но отважно поддерживала ту неуверенную жалкую игру, которую вели с нею мы – посетители и близкие к ней люди. Реку свою она переплывала одна, не обижаясь, что мы остаемся на берегу, сочувственно улыбалась нашему бессильному желанию помочь ей. А мы с берега махали белыми платочками, точно провожали ее ненадолго, и делали вид, что в скорости ждем обратно. И она приветливо шевелила пальцами, чтобы утешить нас немного. Потому что в этот час она, сильная, жалела нас, слабых.

Мне она сказала:

– Вы ведь знаете, как я ждала вас. И за что я на вас обижена...

Конечно, я знала.

– Я уезжаю теперь в Париж. Вернусь – ...

– Надолго?.. Ах, на шесть недель...

У нее не было впереди шести недель, чтобы дожидаться выполнения моего еще зимнего обещания написать о Юлии Марголине. В этом поручении была большая честь для меня и очень непростая задача, которую – худо ли, хорошо ли – я выполняю только сейчас.

х х х

Из всего написанного Марголиным встает лицо знакомо-незнакомое. Сказанное им двадцать и тридцать лет назад вдруг обретает силу пусть не ответа – но отклика на самые сегодняшние вопросы. Словно кто-то очень близкий, свой, прямо-таки один из нас, только раньше пришедший на эту землю, позаботился о нас, думал, ждал и писал нам письма.

Вслушиваясь внимательно в негромкий голос Марголина, трудно автору статьи о нем избежать искушения: так и хочется предложить читателю вместо себя в собеседники самого Марголина, заместив свои абзацы обширными выписками. Ведь окажись мы способными выслушать и воспринять то, что действительно несет с собою марголинское слово, жизнь многих из нас стала бы хоть осмысленнее и многие помирились бы наконец сами с собою. Но нетрудно нынче взять с полки любую книгу Марголина, все они опубликованы, а письма его – мне кажется – все еще не дошли до адреса.

Легко сказать, что Марголин – один из нас, русский еврей, русский интеллигент, с коротким, но драматически насыщенным опытом советской жизни, опытом лагеря и ссылки. Это очевидное сходство не откроет причин нашей собственной глухоты, невосприимчивости к марголинскому уроку, охоты раздергать цельное творчество на цитатки и пройти мимо того, что составляет самую его суть. Важнее для нас, может быть, осознать различие между Юлием Марголиным и нами, провести черту и не набиваться ему в очень уж близкие родственники. Потому что Юлий Борисович Марголин был русским евреем по-другому и русским интеллигентом по-другому, чем мы, и опыт лагеря и ссылки был

пережит им иначе, чем многими его советскими современниками.

Общим же у нас с ним был опыт чтения – азбуке он выучился по Гоголю, а любви к поэзии – по Блоку и Пастернаку. Но сходство и тут не полное: он не только Мандельштама, он и Тувима читал в подлиннике, и Рильке, и Верлена. Русскую культуру любил не по скудости образования, связавшего его одноязычием: он был европеец высокой пробы, для которого любая национальная культура была лишь частью культуры универсальной. И еврей он был не со вчера, не вычислил, не надумал себе "еврейское самосознание", а был знаток литературы на идиш, ценитель новой поэзии на иврите, участник горячих сионистских дискуссий. Тезис об изолированности, неслиянной обособленности еврейского народа среди других народов мира считал он пошлой сублимацией вынесенного из веков рассеяния комплекса национальной неполноценности и справедливо замечал, что в Книге Эсфири знаменитые слова о народе, который живет отдельно, произносит злодей Амман, а не Мордехай. Велик и значителен был, с его точки зрения, вклад его народа в западную культуру. Но вкладом этим он числил не только Библию, а и еврейское участие в европейском культурном творчестве нового времени, на каком бы языке и в каком бы географическом пространстве этот вклад ни был сделан.

Широк был его еврейский мир, и для поддержания национальной гордости маловато было бы ему указать на Осипа Рабиновича или Семена Юшкевича как на русских еврейских писателей (хоть второсортное, но свое родное, и уж тем дороже чужого первосортного). Для него еврейскими вложениями в мировую культуру были Гейне и Тувим, Кафка и Мандельштам. Житель Тель-Авива с 1939 года, он только улыбнулся бы, вспомнив, что некогда страстное желание услышать детскую речь на иврите заставило Жаботинского – сионистского вождя, но ведь и русского писателя! – воскликнуть: одно слово ребенка на иврите дороже всей русской литературы. В открытое окно с тель-авивской улицы доносился оголтелый ребячий галдеж – и все сплошь на иврите! Но праздничная радость этого обстоятельства не заменяла и не отменяла для него никакой из многих литератур, к которым он был причастен: ни русской, ни немецкой, ни еврейской.



Юлий Марголин был русский еврей, но он никогда не был советским евреем. Дитя глухой русско-еврейской провинции, екатеринославский гимназист в 1917 году, он только раз оказался случайным свидетелем того, как действует "революционное правосознание". В городском комитете провинившийся коммунист метался с воплем среди своих коллег: "Кто будет меня расстреливать?" Эта встреча с новым строем оказалась решающей: "Я выбрался за двери, пока меня не заметили, и бежал, бежал из страшного дома, из круга этих людей, из круга их идей и "идеалов" навеки..."

Он был увлечен и убежден идеями и идеалами Жаботинского. Задолго до второй мировой войны знал и чувствовал угрозу, нависшую над его народом. Но осень тридцать девятого года застала его в Польше, гостем в родительском доме, и вплотную придвинулось к нему гитлеровское нашествие: "О патриотизме польских евреев можно говорить уже в прошедшем времени. Нет больше польских евреев. На улице Берка Моселевича живут поляки, которые обойдутся без нас и нашей привязанности. Но в то утро, когда началась моя беженская эпопея, я был искренне взволнован, и польская трагедия заслонила в моем воображении ту единственную, о которой следовало думать: трагедию моего народа..." ("Сентябрь, 1939").

Так он был совлечен судьбой с того пути, который выбрал для себя сам, с пути сиониста, израильянина, деятеля "национальной революции". И его протянуло по маршруту, следовать которым он отказался в самом начале жизни. В Пинске, городке его детства, достала его советская власть, чтобы отправить в многолетнее "путешествие в страну Ээка".

Его книга не первая, но довольно ранняя книга о советских лагерях, вышла в "Издательстве Чехова" в 1952 году. Она разошлась довольно быстро, но международного резонанса не имела. Не потому, что автор плохо справился со своей задачей, но потому, что он говорил вещи, которых никто не хотел тогда слышать. Теперь, когда живая жизнь Юлия Марголина прожита, можно думать, что судьба была права, забросив его свидетелем на дикие острова ГУЛАГа.

Даже сокрушительная сила томов Солженицына не отменяет значения "Путешествия в страну Зэка". Марголин одним из первых нанес ее на карту и дал ей географическое имя.

От всех, кто писал об этой стране по-русски, Марголина отличает особый угол зрения – взгляд пришельца из другого мира. Он был свой в русском языке и культуре, и через то было ему абсолютно доступно охватить мыслью открывшееся взгляду явление – без наивного ребяческого испуга иностранца. Но, с другой стороны, его не мучил, как героя Артура Кестлера, вопрос о вине и расплате, проклятый вопрос: "Почему и за что?" Ничем в своей предыдущей жизни, в отличие от многих еврейских коммунистов и европейских левых, он не послужил созданию страны лагерей. В лагерь он принёс "чувство собственного достоинства, этот хрупкий и поздний плод европейской культуры". Для наиболее способных к мысли из числа советских людей лагерь был школой освобождения от идеологической повинности по отношению к государству, лагерная неволя (вспомним автора и героев "В круге первом") часто оборачивалась путем к внутренней свободе. Но никогда не сказал бы Марголин: "Благословение тебе, тюрьма", и ничему не мог научить его лагерь. "Социалистический гуманизм" и "буржуазный индивидуализм" не могли устоять в лагере. Но Марголин прибыл с другим багажом – он был гуманист, либерал и индивидуалист без эпитетов. Убеждения его были тверды, и, хотя сохранить их не всякому было легко, в пересмотре они не нуждались.

Тут все зависит от точки отсчета. Любимые герои Солженицына проходят в лагере процесс очеловечения. Марголин же посвятил в своей книге большую главу другому процессу и назвал его "Расчеловечивание": "Быть сытым – лежать отдыхая – чувствовать благодетельное тепло – жить текущим днем, не допуская ни воспоминаний о прошлом, ни мысли о будущем: вот предел желаний и степень расчеловечения, к которой рано или поздно приходит каждый заключенный... необходимость лгать для спасения жизни, лгать беспрерывно, годами носить маску и не говорить того, что думаешь..." Для среднего советского гражданина нажать свое, отличное от введенного сверху, самосознание – уже большое достижение; научиться сохранить его, укрыть от всевидящих очей – еще большее. Но для интеллигента Запада необходимость скрывать себя, рядиться в идеологический мундир, применяться к чужим правилам игры – для него это "атрофия сознания и марионетизация духа". И в тех случаях,

когда он, по необходимости, оказывается восприимчив к лагерным "урокам", успехи не радуют его: "В первый раз в жизни, если не считать мальчишеских драк, я ударил человека... Меня понесло, точно какая-то черта была пройдена, и я ощутил всем существом — силу, охоту, право и неожиданную легкость, с какой можно бить".

Интеллигент в лагере — тема, изобретенная лагерем, поскольку лагерь — идеальное место встречи интеллигенции с народом. Теперь они попробуют друг друга на зуб. И если интеллигент окажется не плох, он скоро усвоит необходимые навыки, дающие возможность выжить: непрерываемость тона, быструю готовность дать в зубы, способность излучать волевое свечение. Он научится переводить интеллектуальное превосходство в физическое. И выживет. И будет прав и горд. И если напишет — прочтите недавнюю яркую книгу **Вл. Маркмана "На краю географии"**, — вы и сами почувствуете привлекательность этой сведенности в кулак, единственно дающей возможность выжить и сохраниться.

Интеллигентные еврейские мальчики, смолоду попавшие в лагерь и не пропавшие там благодаря силе кулака и духа, зачастую на всю жизнь сохраняют черты этого лютого суперменства и кулак, пожалуй, ценят больше. Они уверены, что успех приходит только к сильному, что жестокость или, по крайней мере, жесткость убедительнее всякой другой манеры поведения, и всегда готовы к отпору раньше, чем на них нападут.

Но Марголин не хотел учиться на супермена: "Среди переживаний, которых я никогда не прошу лагерю и мрачным его создателям, — на всю жизнь останется в памяти моей этот удар в лицо, который на одну короткую минуту сделал из меня их сообщника, их последователя и ученика".

Внутреннее задание у него было другое: "Я относился к лагерю, как наблюдатель со стороны, как литератор, как человек, которому в будущем предстояло написать о нем книгу. Лагерь казался мне редчайшим секретным документом советской действительности, к которому я случайно получил доступ, захватывающим документом и панорамой".

Такая позиция не кажется сегодня слишком оригинальной. Кто из сидевших не писал о лагере! Нынче этих книг уже целая библиотека, и читатель, особенно если помоложе, уже устает от этих книг. Те, кого судьба и жизненная активность заталкивают за решетку сегодня, похоже, часто испытывают остро возбужденный литературный интерес:

”Ужо напишу!” Однако и в этой горькой теме вырабатывается свой шаблон: все те же нравы, характеры, споры, все тот же жаргон. Нынче лагерь уже досконально изучен, освоен литературой во всех родах и видах. Но даже на этом фоне книга Марголина выделяется свежестью — это действительно новооткрытый мир, впервые предстающий европейскому глазу.

Что-то в марголинских интонациях роднит порою его описания с африканскими дневниками Миклухо-Маклая. С чувством соглядатая, подсмотревшего тайну скрытного племени, описывает путешественник этот не-западный, не-европейский мир, его географию и население, его диковинные порядки и повадки: ”Прямо против вахты — банька, ветхая покосившаяся избушка, при ней прачечная. Здесь улица делает изгиб. Направо стоит хлеборезка и пекарня. По левой стороне вещкаптерка, при ней сапожная и портняжная мастерские. Дальше крошечный ”стационар” — больничка на 8—10 кроватей. На пригорке стоит новый чистенький домик. С одной стороны он огорожен колючей проволокой. Там помещаются женщины, которые среди мужского населения должны особо охраняться...” Мы так привыкли жить в непосредственной близости лагерей, что воспринимаем это соседство, как нечто трагическое, но вполне естественное; как некое обстоятельство, которое невозможно не принимать в расчет. Лагерная вышка уже привычная деталь родимого пейзажа, при виде запретки мы испытываем грустную радость узнавания. Нужен изумленный глаз иностранца, его остраненное видение, чтобы и мы увидели не только трагизм и очищающую силу лагерного страдания, но и все омерзительное безобразие нашей родной тюрьмы.

Ограниченность лагерного опыта не помешала Марголину цепко охватить глазом всю многообразную советскую действительность.

Зэка Марголин считал себя ее знатоком только лишь на основании знакомства с другими зэка: ”Эти люди принадлежали к пятнадцатимиллионной массе советских зэка, а эта масса, в свою очередь, представляет собой девяносто процентов населения России. Можно было бы в один день освободить все эти миллионы и посадить на их место другие — с тем же правом и основанием”. Чтобы составить себе представление об уровне жизни вольной России, ему достаточно было взгляда, брошенного из бредущей этапом лагерной колонны: ”Крестьяне выходили на дорогу просить хлеба

у арестантов!” И довольно ему было немногих лагерных встреч, чтобы оценить достижения советского еврейства, “наши достижения” в деле ликвидации устарелых национальных перегородок: “Вид русских евреев, заглохших, как бурьян, оторванных от живой связи со своим народом, был вдвойне тягостен нам... Так выглядели дети тех, кто был когда-то авангардом еврейского народа, кто создал сионизм и заложил основы новой Палестины”.

В пятьдесят втором году вышла в свет эта книга. Тогда в Москве и Ленинграде гнали с профессорских кафедр “безродных космополитов”, считавших себя цветом русской интеллигенции, и пухли следственные дела “убийц в белых халатах”.

Не слушали мы тогда иностранного радио, не знали ни самиздата, ни тамиздата, не могли увидеть себя его удивленным взглядом: “Ничего не слыхали о Палестине, не знали Библии, не имели понятия о национальной культуре и тех именах, которые дороги каждому еврею, — точно они были с другой планеты. Когда мы им рассказывали о Тель-Авиве и Эмеке, они слушали, как негры в центральной Африке слушают рассказ белого человека о чудесах Европы — с удивлением, но без особого интереса, как о чем-то, что слишком далеко от них, чтобы быть реальным”.

Но не такой писатель был Юлий Марголин, чтобы обвинить жертв “беспримерного в истории человеческого несчастья”. Спросить с нас могли бы только мы сами. Он же искал ответственность на другой стороне, на той, к которой принадлежал сам: “И я вспомнил первомайские плакаты на улицах Тель-Авива с приветствиями Сталину (то есть начальнику нашего лагпункта) и Красной Армии (то есть нашему комвзводу) — и подумал, что мы, евреи, щедрый народ, если так легко забываем о собственной плоти и крови...”

х х х

Самый главный урок марголинского творчества содержится для нас в его личности, так счастливо просматривающейся из совокупности им написанного. В его личностных качествах и коренится то, что отделяет нас от него, несмотря на желаемую близость. Нам легко ощутить своими его постулаты и принципы, но не легко с его последовательностью построить свою жизнь в соответствии с ними. Суть же дела чрезвычайно проста и заключается в его абсолютной верности

двум словам – с в о б о д а и п р а в д а. Эти два слова содержали в себе все его жизненные, нравственные, художественные и политические установления.

Но разве кто-либо из нас мыслит иначе, разве кто-нибудь, кроме откровенных рвачей и мерзавцев, готов согласиться с ложью и насилием? Нет, конечно, нет! Но по привычкам и рефлексам нашей предыдущей жизни, от которых труднее избавиться, чем от заблуждений, уже осознанных как заблуждения, мы всегда готовы покуситься на свободу другого, на его "неверную" правду ради нашей, единственно верной. Все мы знаем, что надо и что не надо печатать, какой сионизм настоящий и правильный, а какой ошибочный и вредный. Мы приносим наши лагерные кандалы или диссидентские заслуги, выкладываем их на круглый стол обсуждения, и эти вещественные доказательства наших доблестей требуем принять как существенные доказательства нашей правоты. Мы всегда норювим кого-то одернуть, с высоты нашего московского, ленинградского или львовского снобизма упрекнуть кого-то в провинциальности: "касриловский мудрец" или там "егупецкое быдло". Нигде наша безродность, наш разрыв с традицией не обнаруживают себя сильнее, чем в этом предположении, что само по себе слово "Егупец" или "Бердичев" может прозвучать обидно.

Для европейского интеллигента и еврейского писателя Юлия Марголина это было и невозможно, и непонятно. Он родом именно оттуда, из местечка Полесья, из глухой русско-еврейской провинции начала века: "Встает рассвет над страной моего детства, и сердцу зябко, все отходит, все бледнеет перед этим возвращением, перед этой потерянностью заброшенных белорусских просторов, глухих и заглохших, щемяше-бедных и тихих... Город начала века и начала жизни. Теплый город, которого больше нет, как нет и домика, где я рожден, и людей, из года в год столетиями создававших заколдованный замкнутый мир еврейской жизни, как крепость в тройной ограде – географической дали, исторического отчуждения и культурной изоляции". И хоть доктор философии Ю. Б. Марголин был противник исторического отчуждения, ненавистник культурной изоляции и борец против местечковых комплексов, вынесенных в государственную израильскую жизнь и политику, а какой ностальгией, какой благодарной памятью овевяно для него видение исчезнувшего местечка! Увы, нет больше еврейского Егупца, Касриловки или Шепетовки, нет населявшего их гово-

рившего на идиш простонародья, которое так легко, в полемическом азарте укоряя противника, обозвать "быдлом". Нет его — и не отыскать следов, вот разве что в писаниях неугодного нам литератора!

Так выясняется, что и родина у нас с Марголиным не одна, и ностальгия другая, и еврейство наше разное. Наша любовь к еврейству выражает умеренную привязанность к кругу наших московских знакомых. А Марголин обнаруживал следы местечка в шумной жизни Тель-Авива не с брезгливостью чужака, а с той радостью, с которой выученный на медные деньги сын смотрит в простое лицо матери: "Тут можно услышать сочный идиш и политические споры на этом языке... А при малярах пристроилась и старая женщина в платке, продающая бублики. В Польше они назывались "бейгеллах", а в Западном крае — "баранки"... Все вместе — в самом центре израильского Мегалополиса — воскрешает времена Шолом-Алейхема, еврейско-русскую провинцию времен давно минувших. Удивительное и живописное зрелище в самом центре большого города".

Есть много охотников перебросить мост из энергичного настоящего в легендарное библейское прошлое, сбросив в ров забвения, как нечто постыдное, тот кусок истории, который еврейский народ провел в галуте, в рассеянии. Но для Марголина живой сегодняшней Израиль аккумулировал все еврейское время и не было в нем ни провалов, ни перерывов. Не с нуля начиналась здесь жизнь: каждый новый иммигрант ввозил с собой часть привычного уклада. И в экзотической природе Израйля взгляд писателя без труда обнаруживал устойчивые черты знакомого ему еврейско-русского мира: "Всюду рассыпаны белые домики селений, и если забраться в знойный полдень куда-нибудь в глушь и пойти по деревенской улице вдоль кактусовых изгородей, за которыми безмолвие нарушается лишь отдаленным клохтаньем кур и утробным урчанием невидимого осла в невидимом дворике (подобным деревянному скрипу колеса в белорусской деревне), то становится ясно, что никаким западным и незападным империализмом этого не объяснишь".

И как Израиль Марголина вмещал в себя все прожитое и пережитое евреями в разных краях земли, так и израильтянин Марголин сохранял и вмещал в себя все прожитое и пережитое им самим. Ничто из любимого им прежде не потребовалось ему отбросить: ни одного идейного пристрастия,

ни одной культурной привязанности, ни одного личного сентимента. "По горам, по долам" назвал он свою корреспонденцию, повествующую вовсе не о путешествии по Валдайской возвышенности, а об автобусной экскурсии на север Израиля. То назовет израильского кибуцника — "сожженный солнцем голоногий мужик из Эйн-Геди", то заметит над озером Кинерет "п л а к у ч и е" эвкалипты — и читатель согласится мгновенно: и впрямь вислые ветки эвкалипта заставляют вспомнить об иве. То вдруг скажет в интонациях едва ли не "Записок охотника": "Входим в просторный деревенский дом бетонной постройки", хоть ни дом, ни деревня ничуть не похожи на те, в которых обитали Хорь и Калиныч.

Человек абсолютной внутренней свободы, он не желал освобождаться ни от европеизма, ни от привязанности к русской речи, ни от любви к немецкой музыке, ни от осознанной вражды к демагогии любой окраски. Его израильский патриотизм не требовал таких жертв и не принял бы их. Наши дискуссии о том, нужна ли в Израиле литература на русском языке, только насмешили бы его.

х х х

Марголин не был писатель-выдумщик. Он держался факта, воспоминания, документа. Его любимое амплуа — не амплуа романиста, хозяина судеб своих героев, но рассказчика, верного хранителя сюжетов, изобретенных самой жизнью. Его книги сопряжены с собственным жизненным опытом. Это верно и для "Книги о детстве", повести о начальных годах еврейского мальчика из семьи провинциального врача, и для книг, которым сам автор предназначал роль свидетельских показаний — "Сентябрь, 1939" и "Путешествие в страну Зэка"; это верно и для совершенно документальных книг, имеющих специальную внутреннюю установку, четкое политическое задание, — таких, как "Еврейская повесть" и "Израиль — еврейское государство".

"Еврейская повесть" написана, как можно догадаться, и по внутренней потребности автора рассказать об Израиле Эпштейне, террористе из Эцеля, и по внешнему побуждению, исходившему от партийных товарищей погибшего. Марголин выполнил задание — написал "Еврейскую повесть". В эпилоге он рассказал, как она была оценена: "Рукопись о Сроликке встретила решительный отпор со стороны именно

тех лиц, на воспоминаниях и свидетельстве которых она была построена. Она разделила судьбу портретов, которые не удовлетворяют заказчиков и возвращаются ими „удожнику, обманувшему ожидания. — ”Портрет не похож, — сказали мне. — Сролик совсем не был таков”. ...Я не был задет отказом... Но я был живо заинтересован другой версией, которую могли бы дать люди, лично знавшие Израиля Эпштейна... Я ждал годы... но этой версии нет и, как видно, не будет. Сролик покоится в молчании. Он похоронен окончательно. Бледнеют воспоминания, и скоро некому будет поправить меня”.

”Портрет не похож”, — сказали заказчики, герои и идеологи Эцеля. Они были правы. Портрет и в самом деле не был похож. Он не был похож на привычное житие героя, безликое и величественное. И несходство с каноном было принято за отсутствие сходства вообще. Марголин же добивался как раз сходства не с каноном (при котором Хану Сенеш не отличишь от Зои Космодемьянской, а Шломо Бен-Йосефа — от Александра Матросова), а с правдой, со средним ходом жизни, выталкивающим из своей толщи массового человека на миг, на час, чтобы просияло и вспыхнуло то, чему обычно нет выхода в потоке жизни, но что накапливается именно в нем.

Книга о Сролике полна иронии по отношению к отработанным обрядам, торжественным похоронам, посмертным почестям и подобающим случаю речам: ”Нет сомнения, что эти люди умеют хоронить и привыкли воздавать честь мертвым... Начинаются речи, много официальных и приличных случаю слов... Честь, оказанная погибшему, — это честь, оказанная самой Партии. Они воздают честь самим себе, и почему бы нет? Она положена им. Хоронят одного, чтобы жили все остальные”.

Прежде всего заказчиков не устроила ироническая интонация. Они были люди серьезные. Автор ”Еврейской повести” не стремился воздвигнуть пышный курган над героем во славу его Партии — он хотел оставить героя живым и вставал против похорон. И вообще у него было странное понятие о героях и героизме. Похоже, что он сознательно снижал ситуации, на которых другому захотелось бы ”положительно воспитать” целое поколение. О Шломо Бен-Йосефе, например, написано так: ”Наивный и простосердечный бейтари из Луцка... в ряд ли был достаточно взрос-

лым человеком* в то утро, когда он вышел на дорогу за Рош-Пиной и — на свою ответственность — открыл стрельбу по арабскому автобусу... Во всяком случае он плохо стрелял, никому вреда не причинил*, и вся эта эскапада* осталась бы незамеченным эпизодом без всяких последствий, если бы не классическая и образцовая тупость британских властей". А о самом Израиле Эпштейнс, о герое книги, герое Эцеля: "Наш Сролик один из самых преданных и верных, плоть от плоти, кость от кости безымянной серой массы"!*

Так ли пишут о герое?! В очерке "На кладбище в Цфате" раздумья писателя у героических могил семи повешенных еврейских террористов могут обескуражить еще больше: "Все, что вы сделали при жизни, было так незначительно: при жизни ваша воинская доблесть и сила не могли сдвинуть с места врага. Это могла сделать только ваша смерть и то, как вы ее приняли: демонстрация, жест... Были ли вы великие люди? Мужики науки и совета, дальновидные политики? Нет, право на бессмертие дала вам только ваша смерть, а не жизнь. И если б вы остались жить, как сотни и тысячи ваших товарищей, из которых каждый мог бы быть на вашем месте, мне было бы скучно встретиться с вами. Нам не о чем было бы говорить... Кто знает, что бы вышло из вас?.. Один, может быть, открыл бы торговлю и по вечерам играл бы в карты; другой попался бы на шоссе с корзиной нелегальных яиц и двумя курицами..." Что за цинизм! Не отрицает ли Юлий Марголин смысл героического действия как такового? Не возмутительно ли прийти к гробам, чтоб обратиться к мертвым с такой непочтительной речью?

Но для Марголина возмутительна спекуляция на подвиге в политических интересах, он против стрижки купонов со страниц героических воспоминаний, он против пышных похорон прошлого, куда за помпой исчезает правда. Только правда помогает оставить прошлое живым. Не мумию, не мавзолей, не саркофаг — живого мальчика предлагает нам любить Марголин. "Вызванный на экзамен истории, Шлойме Табачник (Шломо Бен-Йосеф. — Н. Р.), один из массы, родной брат нашего Сролика, перестал быть смешным... Эта первая виселица, на которую луцкий парень пошел с великодушным презрением к смерти и полной уверенностью,

* Разрядка моя. — Н. Р.

что правда на его стороне, покончила все сомнения и убедила многих, кто еще топтался на месте”.

Юлий Марголин открыл нечто новое, по сравнению с привычным пониманием героя. Не над толпой, не вне толпы – внутри нее нашел он героя. Герой и есть человек толпы, не философ, не мыслитель. Он лучшее, что может выдвинуть из себя народ, масса в критическую минуту, когда речь идет о жизни и смерти. И если героическое деяние не закрепит его поднятым виселицей над толпой навеки, он вернется в толпу, растворится в ней, с двумя курицами или колодой карт в руке.

”Маленькие люди делают большую историю, и в свою очередь история родит маленькое продолжение, серые будни, разочарование...”. Здесь предостережение всем недавним героям, требующим за их ратные подвиги и за муки их товарищей вечного воздаяния в виде права на руководство жизнью: ”Ибо душа моя устала от спасателей мира и благодетелей народа, от сочинителей программ и основателей новых партий. Что случилось с ”национальным движением” в Израиле? – Партийные политики пытаются существовать за счет вашей смерти и без конца возвращаются к вашим могилам, чтобы на них построить свое настоящее”.

Не Марголин – циник и осквернитель праха! Оскверняет прах тот, кто делает из пепла расхожую политическую монету: ”Морального первенства никому нельзя ни завещать, ни передать в наследство... И нас не спасает ваша смерть – Грунер, Кашани, и Дрезнер, Алькоши, Вайс, и Накар, и Хавив! С нами случилось несчастье, со всеми нами случилась беда: мы потеряли моральное первенство, мы потеряли в аш е моральное первенство... Не стало в нашем народе людей, которых прельщает бороться за моральное первенство, за чистоту, за близость к правде. Мы стали теперь все одинаковые, во всех партиях, под всеми названиями – те же серенькие, запыленные и бессильные люди, которым не нужна ни ваша корона, ни ваша виселица...”

х х х

”Книга о жизни (Восемь глав о детстве)” была напечатана в ”Новом журнале” в 1965–1966 годах. Ева Ефимовна Марголина вспоминала, что редактор журнала ужаснулся: ”Как можно так о своем отце!”

Отец в повести действительно выглядит неприглядно:

”Я очень рано начал стыдиться за отца и из-за отца. Причиной тому были его скандалы... Впервые из уст отца я услышал матерщину и грязные ругательства по адресу моей матери... ”Деньги, деньги, деньги”, – этот припев сопровождал его всю жизнь... Он не читал книг и рано прекратил выписывать газету... В моих глазах он стал в те отроческие годы... воплощением всего отрицательного, от чего надо уйти... Я презирал обывателя, филистера, умственное и нравственное ничтожество человека, оскорблявшего меня всем строем своей жизни... И каким было для меня потрясением, когда я узнал, что отец, недавно назначенный во врачебную комиссию по приему новобранцев, берет взятки за освобождение... Он был болен. Ухо, нос и глаза мучили его непрерывно... Но жалобы его и стоны... вызывали во мне только досаду и враждебность. ...Я был жесток к нему и не понимал, кому и зачем нужна такая жизнь”.

Среди классических книг о детстве немало и горьких, где выросший ребенок рассчитывается за старые обиды и одиночество. (”Рыжик” Жюль Ренара – в этом ряду.) Такую книгу окрашивает сознание ранней отторженности, выключения из мира родительского дома, отпадения от семейных ветвей. Будь ”Главы о детстве” Юлия Марголина такой книгой, вряд ли это смутило бы редактора. Но повесть Марголина совсем не такова. Ее цель не обличение, не расчет с прошлым, а удержание, закрепление прошлого. Это самая большая художественная удача Марголина. Общий тон книги – лирический, и в ходе повествования, следующего за ходом жизни, недоброжелательство к родителям преодолевается не прощением и не раскаянием, но умудренным пониманием. Черты враждебной неприязненности, осуждения, погасшего, но не забытого и не отмененного, могли озадачить и показаться нарушением заповеди сыновней почтительности именно из-за общей элегической, ностальгической окраски повествования. В сатирической прозе они не показались бы неуместными.

Нигде внутренняя цель марголинского писательства не обнаруживает себя так ясно, как в этой книге. Нигде так полно не выявлен сам его принцип. Главные, ключевые слова появляются уже на первой странице, в первом абзаце, в первой строке: ”Мой отец был слишком прост, чтобы лгать. Поэтому он и не хотел, не мог писать о своей жизни, как я ни просил его. Этот рассказ был бы ужасен. Он не умел лгать, не умел сказать правду. Такие – самые несчастные люди”.

Выясняется, что существуют два умения писать: "лгать", т. е. украшать себя и действительность, и "сказать правду". Между неприятием одного способа и владением другим помещается много промежуточных возможностей. Марголин трезво оценивал свое дарование беллетриста и знал, что придает значение и силу написанному им. Умение сказать правду — редкий дар. Но как раз им он обладал вполне.

Он обращается к детству, чтобы удержать на бумаге бледные, убегающие в забвение тени. Приукрасить отца значит закрепить, задержать не его, обличить и только — открыть лишь ту часть истины, которая ясна подростку, а не ту, к которой приблизился зрелый писатель. Прошлое озарено в этой прозе светом сегодняшнего знания. Неопытность детства сплавлена с опытом зрелой мысли. Почти нет действия, диалога, развивающегося сюжета. И так много того, что особенно любят пропускать неопытные или неразвитые читатели, — рассуждения, прямой медитации. Это и есть самое живое в повести, самая душа ее, максимальное приближение к истине: "То, чего отец не открыл в себе, запечатано навеки... И обращая рефлектор памяти к истокам далекого детства, я, в котором еще тлеет отцовская жизнь, как фитилек в глухой ночи, — я, разумеется, не могу много сделать для него. Мне кажется, он кладет руку на эту страницу, руку со вздувшимися жилами и рыжими крапинками, и смотрит на меня с укором и страхом. Как он стар, Боже мой! Как страшно причинить ему посмертную боль! Но мы связаны словом и мыслью, и еще больше — кровной, телесной связью".

Первая страница повести озадачивает резкостью тона, прямотой осуждения, но дальше мало-помалу из смеси гсречи, сожаления и любви выплывает печальный и чистый звук — тон примирения памяти с пониманием. Мать и сестра, город Пинск, дом и двор раннего детства, первые странствия, первые книги — все, что достает писатель со дна своей памяти, все омыто этим ясным звуком. И отчетливее всего запоминается именно отец, самодур, скандалист и взяточник. Но — странное дело! — осуждение ушло, а осталось впечатление поминальной элегии в память о чьей-то миновавшей жизни.

К истине нас ведут через лирику. Далеко сносит автора течением времени. Движением памяти он добирается до истоков собственной жизни, движением мысли — до истоков родовых, народных. Все начала он стремится найти в себе, и тут весь секрет подлинности — понять другого это и зна-

чит отыскать его в себе, себя узнать в нем: "Время сглаживает и выравнивает различия, и теперь мне ясно, что все люди одинаково заслуживают жалости, и я ничем не лучше своего отца перед судом совести и перед вечностью... Его взрослая, мучительная, полная боли и разочарований жизнь стала проплывать через мою и повторяться в ней так, что я стал узнавать его в себе, со смирением и смятением. ...И даже в эту минуту, когда я опускаю глаза и подпираю рукой лоб, — кто знает, не повторяю ли я жест одного из моих прадедов так точно, что он узнал бы себя во мне, как в зеркале, — и как эхо звучат во мне тысячелетия прожитых надежд, страстей, волнений, чтобы ожить на миг и уйти туда, где прошлое слито с будущим".

Старый доктор Марголин на миг появляется еще раз в книге "Сентябрь, 1939", где исторический сюжет дан уже в заголовке и исчерпан датой. Это сюжет национальной трагедии: "Трагизм положения польских евреев выражался в том, что одни были "безмерно счастливы", спасаясь от немцев у большевиков, а другие так же "безмерно счастливы", спасаясь от большевиков у немцев". Это книга о бегстве, о витке судьбы, возвращающем в город детства, в город "Книги о жизни".

Рассказ документальный, не лирическое воспоминание, а публицистическое. Уже произошло все то, что произошло: "Кто-то зажал нам рот и говорил от нашего имени. Кто-то вошел в наш дом и стал в нем хозяйничать без нашего согласия". И уже герою-автору нагадал провидец-следователь "дальнюю дорогу" и на долгие годы "казенный дом". Ведущая интонация — гнев, отвращение, гадливость. И вдруг начинает звучать другая музыка, знакомая мелодия, тема отца: "Но самое большое впечатление произвел мой арест на старого доктора Марголина... После моего исчезновения он впал в глубокую задумчивость. Дня три подождал — и в одно прекрасное утро тихонько оделся и, не говоря ни слова, вышел на улицу. Место моего заключения было недалеко от нашего дома. Соседи из окон видели, как тихо брел по тротуару, опираясь на палку, маленький белый старичок. "Куда это пошел старый доктор Марголин?" Он подошел к массивным запертым воротам во двор НКВД. Это он выбрался поговорить с начальником НКВД и объяснить ему, что я человек хороший и меня не надо держать в тюрьме. На фоне больших железных ворот он был совсем маленький. Из окон домишек смотрели десятки глаз на странное поведение док-

тора Марголина: старичок поднял палку и постучал в ворота. Никто не услышал этого стука. Он подождал и постучал еще. Долго стоял он, понуриив голову, и ждал... слушал. И наконец тихонько вздохнул и пошел обратно. И дома никому не сказал, куда и зачем ходил”.

Так добыта Марголиным правда о человеке, который “не умел лгать и не умел сказать правду”. В публицистической книге о том, как в Полесье пришла советская власть, как она вторично наступила для европейского писателя Юлия Марголина, упоминание о старом докторе не выглядит неуместно. Правда о человеке добывается тем же способом, каким добывается правда о “Стране Зэка”. Она добывается изнутри, из доверия к своему опыту, знаниям, моральной позиции “человека Запада, непроданного и свободного”.

В лагере Марголин сочинил небольшую работу “Теория лжи”. Место лжи в жизни, искусстве, политике занимало его чрезвычайно. Он отвергал даже “ложь во спасение” — просто не верил, что ложь может спасти. Он был убежден, что следовать правде — для человека, правительства или народа — есть путь не жертвенный, ведущий к красивой героической смерти, а единственный разумный, единственный уводящий от гибели путь. Вот плебисцит — о присоединении Западной Украины и Западной Белоруссии к Советскому Союзу. Известный образчик советского голосования! И какая разница — голосовать или нет. И уже дважды приходил милиционер — “Почему не голосует?” — и обещал прийти в третий раз. Но у этого “русского еврея” иная, чем у нас, мера ответственности: “Я объяснил, что нахожусь во Львове проездом, проживаю за границей и не считаю себя вправе решать вопрос о государственной принадлежности Западной Украины... я показал удостоверение личности, выданное мне полицией города Тель-Авива в апреле того же года... Английский текст произвел впечатление на командира... “Вычеркните англичанина”... — и я ушел с победой. Прочие, невычеркнутые, проголосовали как полагается — и советская власть по всей законной демократической форме вошла во владение Западной Украиной и Западной Белоруссией”. Нормально развитое нравственное сознание опережает на тридцатилетие самую сильную моральную проповедь нашего времени. “Не живите ложью!” И оказывается, что это не подвиг, а форма бытового поведения. Так выясняется степень нашего одичания, нашего калечества.

По Марголину есть возмездие за аморализм как человече-

ского поведения, так и государственной политики. И, как истый еврей, он полагает, что оно настигает нас еще здесь, на земле. Все сочувствие к гибнущей Польше не отменяет ясного видения: "За двадцать лет своей независимости Польша Легионов совершила три преступления, за которые теперь наступила расплата". И вот перечень грехов: политика по отношению к национальным меньшинствам, политический цинизм во внутренних отношениях и нежелание служить обороне европейской демократии – помощь Германии в разделе Чехословакии в 1938 году. По мысли Марголина, история карает циничское стремление к выгоде, а реальная выгода и успех приходят как результат верности моральным принципам. Нравственная политика не жертвенна, а единственно прагматична. Гибель пинских евреев, зажатых между Сталиным и Гитлером, заставляет писателя искать задним числом для них возможность спасения. Ему кажется, что такая возможность была, хоть она и превышала их моральные и умственные силы. Это была возможность гражданского неповиновения чужой и чуждой советской власти.

"Учителям гимназии "Тарбут" не следовало принимать угодливого решения об отказе от национального языка и национального воспитания... То, что они сделали, было обыкновенной подлостью и изменой... Тысячи евреев, которые не хотели советского гражданства, не должны были принимать участия в выборах в Верховный Совет и получать навязанные им советские паспорта. Вместо этого надо было сказать вслух то, что все они тогда думали: "Нам не нужно ваше гражданство, и мы просим записать нас на выезд в Палестину". ..."Кампания гражданского неповиновения имела бы фатальные следствия для пинских евреев. Советская власть не шутит в таких случаях. Но в конце концов она бы вывезла всех евреев, с их женами и детьми, с их молитвенниками и бебехами, по сто кило на человека, вон из пограничной полосы. И они были бы не первым и не единственным народом, с которым это случилось в Советском Союзе. В Центральной Азии или Якутской области пришлось бы им круто и тяжело. Многие из них погибли бы. Но, в общем и целом, эти люди не только пережили бы войну, но своим сопротивлением создали бы решающий аргумент в пользу национальной культуры и национального движения. "Мудрая сталинская политика" учла бы, что иврит и сионизм имеют некоторые корни в еврейском народе".

Боюсь, что нашему поколению уже не вернуться к тако-

му стойкому доверию к историческому разуму. Сильно удалились мы от Юлия Марголина, русского интеллигента старой формации. Мы пришли из страны Ээка после длинного опыта расчеловечивания. Нравственный компас наш сильно испорчен, и мы ищем ориентиры вовне. Пленники идеологии, мы одной идейкой подменяем совокупность нравственного знания о мире. Служба идее, верность добровольно принятой догме – таков максимум наших моральных возможностей.

х х х

Еще много раз мы остановимся перед тем, что сказано Юлием Марголиным: как своевременно было бы повторить ту или иную его мысль сейчас и как он похож на нас и до чего же все-таки не похож! Тот, кто поспешит восхититься его гармонической личностью – ах, как многое естественно и просто совмещалось в нем без борьбы! – рискует расшибиться при чтении об острые углы противоречий. Марголин утверждает исключаящие друг друга вещи, спорит с тем, что сказал вчера и оставляет читателя в полной растерянности. В самом деле, любит он Польшу или ненавидит? сочувствует сегодняшней России или шлет ей проклятья? осуждает замкнутость местечкового мира или ностальгически любитесь им? и кто он, апологет Израиля или его жестокий критик? сторонник движения Херут или его постоянный оппонент? И, наткнувшись на очередной острый угол, читатель с обидой почувствует, что обескураживающее его противоречие для Марголина как бы вовсе не существует: сам автор уверен, что выражает одну мысль, занимает всегда ту же позицию. Такая авторская уверенность обязывает нас найти стержень, центральную идею, которая одна удерживает в равновесии все здание. Но есть ли у Марголина эта главная линия?

Марголин – писатель с острым политическим интересом. Его публицистика прикреплена к новостям последнего часа. Сами новости уже прочно забыты. Кто вспомнит теперь о выступлении Ричарда Кроссмэна, члена англо-американской комиссии по делам Палестины в 1946 году? Стерлось в памяти даже самых давних израильских жителей происшествие с пароходом "Инге Тофт". И после распада правительственной коалиции 1957 года сколько еще распалось разных коалиций!

Некоторый свет на то, почему старая марголинская публицистика и сегодня читается, как свежая газета, проливают заголовки его очерков: "Дело становится серьезным", "О путях политики", "Чем это кончится?", "Что можно сделать для русского еврейства", "Интерес" против "идеологии". Поводы устарели, но не старела, более того – еще не скоро устареет, та ведущая мысль, на которую опирается вся марголинская политическая журналистика. Мысль, которая его занимала и которую он хотел донести до своих читателей, чрезвычайно проста и звучит просто банально: "Всякая политика должна быть нравственна". Суть различия между Марголиным и присяжными моралистами на политические темы коренится в том, что требования политической нравственности он предъявлял себе, своей стране, своему народу, своей партии, а не партнеру, конкуренту или противнику, как это обычно принято делать.

Мы принесли с собой привычку непременно привалиться к какому-нибудь идеологическому столбу – так нам удобнее стоять. Вчерашний деятель "Общества по распространению политических и научных знаний" надевает кипу – ныне он занимается у нас религиозной пропагандой и чувствует себя совершенно на месте: вернулся к любимому занятию, поступил на идеологическую службу. Всю жизнь он "колебался вместе с линией партии" и теперь будет колебаться с другой. Это крайний пример. Но в большей или меньшей степени мы все люди идеологии, а не мировоззрения. Одна идея – сионистская, демократическая или религиозная – поглощает нас целиком. Она требует жертв, стирания полутонов, строгой однотонной расцветки. Таким путем мы надеемся достичь цельности.

Но марголинская цельность иная. У него есть собственная линия правды, свободы и веры в нравственные силы истории. Когда "линия партии" расходится с внутренней линией, он немедленно фиксирует это отличие. Он не знает идеологической повинности. Сионистские пошлости нравятся ему не больше, чем коммунистические.

"Для значительной части еврейских националистов нет и не нужно другого основания права на страну Израиль, кроме того, которое троекратно указано в Библии... Не приходится сомневаться: авторитет Библии в еврейском народе гораздо выше, чем авторитет резолюции Объединенных Наций...". Народное чувство и опора на историю поддержаны автором, но только до тех пор, пока они не становятся пред-

метом спекуляции, оформляясь в звонкую, трескучую фразу. И он упрекает партию Херут, самую близкую ему политическую партию, за то, что она "стала открыто правой партией, где Танах низведен до роли партийно-политического документа, доказывающего право Израиля на все, что обещано ему Богом".

"Пойдем вперед и пойдем на запад", – такова была внешнеполитическая программа Марголина и таково было его пожелание израильской молодежи. Ненавистней антисемитизма был ему израильский изоляционизм, дважды очерченный эгоистический круг, где интересы Израиля отрывались от национальных интересов еврейства в мире (и следствием оказывалось равнодушие к судьбе евреев России), а вторая окружность меловой чертой отделяла государственные интересы Израиля от судеб западной демократии. Вместо обязательств по отношению к свободному миру возникало эгоистическое желание "успеха для себя". Но Марголин был уверен, что эгоистическая политика нерасчетлива. Успех "для себя" требует выполнения нравственных обязательств перед "другими". Он возвращал своих читателей к "западным" понятиям честного партнерства и честной политики, внутренних связей и искреннего интереса к делам мира: "Стать на сторону демократии – ведь это внутреннее обязательство! Ведь это мобилизация на фронт мировой истории... Спросите у людей, которые у нас делают политику, уважают ли они западную политику, демократию, культуру Запада, свободу Запада? Они ответят – нет! Ненавидят ли они Запад? – тоже нет!.. И есть фраза, которой в этом случае прикрывают равнодушие: "Для нас существуют только интересы нашей родины".

Он не прощал тогдашним правящим кругам занскивания и заигрывания с Советским Союзом, того, что им "национальная честь" не мешала приветствовать Сталина, ... равнодушно протягивать руку погромщикам сионизма и убийцам еврейских писателей, ... и отлично себя чувствовать на фестивалях и съездах, организуемых Москвой".

Ну, уж в этом-то мы с ним едины – в чувстве омерзения и ненависти по отношению к советскому отроку! Да полно, так ли это? Конечно, мы все протестуем и возмущаемся – в принципе; но каждый из нас отдельно имеет свой резон, а иногда и сердечный, трудно опровержимый довод желать перемигнуться со старой родиной. Вы только продайте нам билет на Олимпиаду, и мы поддержим ее помпезный пока-

зушный успех своим участием! Будьте уверены: они будут вести себя тихо-тихо, ничем не омрачат московский праздник, они вспомнят давние привычки разговаривать под открытый кран в ванной комнате и оглядываться, в последнюю секунду впрыгивая в поезд метро, – и никакой пепел не станет стучать к ним в сердце! В отличие от Марголина нам не ново отделять идейный принцип от житейского поведения.

В собрание национальных пошлостей включал Марголин и неприязненное отношение к христианским ценностям, понятное ему в истоках, но неприятное и непринятое им. Знал и помнил он, что не только Ветхим, но и Новым Заветом одарила человечество эта земля, и, поднимаясь по серпантину на гору Табор, вспоминал он Барака, сына Авиноамова, пророчицу Дебору с суковатым посохом в руке, и как "всходили ученики за Иисусом в развевающихся одеждах, отдыхая в дороге на горной каменистой тропинке".

У него были большие требования к своему народу; он не прощал ему греха надменности и нетерпимости. Для него, например, не было вопроса (актуального и двадцать лет назад), кого считать евреем. Он утверждал, что "в Израиле впервые становится возможным то, что невозможно было нигде в мире: можно остаться евреем по национальности, приняв христианство". Тогда эта точка зрения была так же непопулярна, как и сейчас. Но он еще и настаивал: "Евангелист-еврей в Петах-Тикве, всю жизнь отдавший родной земле, во всяком случае не худший еврей, чем ханжа в Бруклине, оплевывающий "безбожный Израиль".

Нравственное чувство делало его противником всякой демагогии, он распознавал ее мгновенно и точно, на какие бы глубокие национальные обиды и раны она ни опиралась: "Людей, по всякому поводу склоняющих "шесть миллионов убиенных немцами", мы в излишней деликатности не обвиняем... Германофобия принимает подчас в Израиле отталкивающие, постыдные формы... По сей день единственными в мире сторонниками подлейшей нацистской теории, отождествлявшей Гитлера с Германией и видевшей в гитлеризме откровение немецкой души, – оказываются в массе евреи, не оправившиеся от шока того времени. Можно ли винить их? Но понять – не значит принять и оправдывать"...

Юлий Марголин был человек Культуры, просветитель по сути своего творчества, сторонник немодной точки зрения, что порядочность – лучший способ успешно вести де-

ла и что честность окупается даже в политике. Просветитель нуждается в аудитории. Марголину с аудиторией не повезло. Он был еврейский сионистский писатель, резкий критик и ненавистник того, что казалось ему национальным пороком. На иврите он был бы услышан — хотя, возможно, и оспорен или даже освистан, — но он говорил по-русски. Как писатель русского зарубежья, он неизменно встречал благожелательный прием, но там его еврейские, израильские интересы оставались незамеченными.

Аудитория опаздывала. Марголин, среди немногих в Израиле, предчувствовал ее приход. Он высказал крайне непопулярный тогда тезис: "Я говорю вам, что каждый сионизм, который не приводит с внутренней последовательностью к антикоммунизму, несерьезен, нездоров, ненастоящий... Мединат Исраэль нельзя построить без миллионов русских евреев. Кто угрожает им — угрожает и нам". Слово "антикоммунизм" в политической лексике 1957 года еще звучало, как некая непристойность в интеллигентном западном обществе. В израильском — и подавно. В Тель-Авиве на выступлении Марголина, реакционера и антисоветчика, не собиралось и десяти человек.

Марголин умер в январе 1971 года, при самом начале "большой алии". Аудитория собралась. Но автора нет в живых. Не он опоздал. Нам самое время его послушать. Но мы опоздали к нему. Без нас он был одинок? — Он был бы одинок и с нами. Моралист, если он не Тартюф, всегда одинок, всегда он старомоден и отстал от времени, у которого более гибкие взгляды. А Марголин настоящий моралист. И в писаниях своих он старомоден подчеркнуто: добивается простой отчетливой фразы, прозрачной ясности мысли, чурается игры парадоксов, не знает стилистических соблазнов новой литературы. Исключительный случай — в нем двадцатый век уживается с девятнадцатым. И перед нами редкая судьба — писатель без родства и соседства. Не великий писатель, не открыватель новых философских путей, не властитель дум... Человек, воспринимавший слово как исполнение долга, в нем, быть может, в последний раз торжествует нравственная норма, привычка к постоянной ответственности. В лице Марголина старая традиция деятельного европейского либерализма прощается с нами. Состоится ли передача наследства? В одной недавней статье о нем было сказано: "Краса и гордость современного человечества". Что стоит за пышной титулатурой, которую тяжело и невесело было бы носить

Марголину? Может быть, неосознанное понимание того, как мало мы годимся в наследники, как сильно мы отбежали назад, как далеко нам до марголинской н о р м ы? Попытка возвращения к этой норме означала бы, что марголинские письма наконец нашли адресата.

Н. Р.

Готовится и в ближайшее время выходит в свет еще одна книга Ю. Б. Марголина "Две повести".

В нее войдут "Книга о жизни (Восемь глав о детстве)" и "Сентябрь, 1939".

ТЕЛЬ-АВИВСКИЙ БЛОКНОТ

1

Израиль не санаторий. Расстроенные нервы не лечит. Люди, приезжающие сюда в плохом настроении, рискуют найти много поводов для добавочных огорчений. Для людей, настроенных бодро, — это страна, где жить можно, жить стоит и где всегда найдется, что посмотреть и чем заняться.

Синайские события и разочарования — в прошлом. Едва отпраздновали девятую годовщину независимости грандиозным парадом (на котором только советский посол с младшей братией спутников отсутствовали, чтобы не созерцать трофейных советских танков), как назначили комиссию для подготовки празднования десятилетия Израиля в будущем мае. Десятилетие независимости предполагается отпраздновать с таким размахом, что меньше года на подготовку положить нельзя. Предполагается, что в будущем году прибавится в Израиле много нового и интересного для приезжих. Это — знак здорового оптимизма.

Кажется иногда, что оптимизм местных людей не-

сколько преувеличен. В новом Доме журналистов им. Н. Соколова в Тель-Авиве состоялся вечер-диспут на тему: "Израиль между Америкой, Азией и Европой". Если послушать оракулов израильского общественного мнения, то все прекрасно. Пророчат сближение в недалеком будущем между Москвой и Вашингтоном. Не будет войны в мировом масштабе, значит, не будет ее и на Ближнем Востоке. Эпигоны Сталина якобы начинают соображать, что еврейского вопроса в России они не разрешили и не разрешат. В течение трех лет — такие ходят слухи — московское правительство разрешит свободную эмиграцию евреев в Израиль.

Для такого оптимизма нет ни малейшего основания, но он, по-видимому, коренится в самой природе израильских граждан. Сорок лет ждут здешние правящие круги поворота в советской политике по отношению к сионизму и не теряют надежды.

Между тем есть некоторый повод для оптимизма в непосредственной действительности Израиля. Экспорт в текущем году вырос до двухсот миллионов долларов (против восьмидесяти с лишним в прошлом году). Это — значительный скачок к той сумме пятьсот-шестьсот миллионов, при которой можно будет говорить об "экономической независимости". Порт в Эйлате растет, тоннаж морского флота бурно увеличивается (за счет немецких репараций), в ближайшие годы потребуются три тысячи моряков для заказанных судов. А главное: возобновилась в этом году массовая алия. Улицы городов переполнены тысячами новых иммигрантов, прибывающих еженедельно из Северной Африки.

Мы их видим на улицах Тель-Авива, и рядом с ними — впервые в истории нашего поколения — туристов, настоящих туристов из Одессы, Москвы. Одного я повстречал на улице: брат моей хоршей

знакомой. Только неделю назад приехал — и всю ночь провел за чтением первой книги, которую ему дали: "Путешествие в страну Зэка". Стоит, не говоря ни слова, и смотрит на меня глазами, которые вдруг покраснели и затуманились. В Одессе остались жена и дети. Через три недели ему возвращаться. "Сколько теперь евреев в Одессе?" — "Сто шестьдесят тысяч". — "Откуда столько?" — "Это остров — так и в Киеве, Харькове, Минске, Вильне, Риге... а в городах и местечках поменьше — десятки, сотни..."

Туристы из Польши разговорчивее. Вдруг появляется в Тель-Авиве д-р Болеслав Дробнер, из старой гвардии довоенного польского социализма. Это он принимал когда-то Ленина в Кракове (1913 г.). Теперь ему 74 года, и на улице он обращает на себя внимание своим сугубо польским видом. Правительственные круги устроили ему теплую встречу, как бы подчеркивая благодарность за либеральное отношение Гомулки. Дробнер осторожен, хвалит в меру. Трудно знать, какие скрытые чувства вызывает в старике, давно оторвавшемся от всего еврейского, всю жизнь боровшемся против сионизма, — страна, где ему зла не помнят.

Не помнят зла и историку коммунисту, приехавшему в гости в кибуц на сирийской границе, в долине Иордана. Семь лет назад он расстался с женой в Варшаве: идеологический конфликт. Жена с двумя детьми уехала в Израиль, поселилась в мапамовском (просоветском) кибуце. Муж-коммунист теперь приехал посмотреть — впервые в жизни — страну и заодно навестить свою семью. Дорога открыта. Его примут, если захочет остаться. Примет жена, примет и кибуц, примут дети, с любопытством разглядывающие отца. Дети — здоровые крепыши. Старшему шестнадцать, и он еще помнит немного польский язык. Младшему восемь, и он обучает отца новому языку. У лы-

сого, с пухлым лицом, папаши вид несколько ошарашенный, но счастливый. С ним провожу часа два, расспрашиваю о впечатлениях. "Кибуц — рабочая коммуна, не так ли?" "Да, — говорит варшавский ленинист неуверенно, — но их ведь эксплуатируют... Государство эксплуатирует рабочих..."

За его спиной я спрашиваю местного кибуцника: "Ты согласен, что вас эксплуатируют?" (Партия Мапам представлена в правительстве Бен-Гуриона двумя министрами). Кибуцник махнул рукой: "Что он может понять?"

Поздним вечером выезжаем в Лод встречать особого гостя. Мой спутник — длинный, худой, как жердь, с маленькой головой, жирафоподобный архитектор К. Не видел брата восемнадцать лет. Оба когда-то были сионистами на школьной скамье в Ченстохове. Младший в августе 1939 года успел пробиться в Палестину с последним нелегальным кораблем "Парита". Через восемнадцать лет архитектор К. — мирный и полезный гражданин, приложивший руку к строительству Тель-Авива, отец семьи и ценитель искусств. Старший тремя годами брат — назовем его Павлом — в 1932 году двадцатилетним парнем влюбился в польскую девушку, что случается и с самыми крайними сионистами. Десять лет спустя это обстоятельство спасло ему жизнь, но в тридцатые годы в Ченстохове в ужасе были обе семьи. (Ее семья, неукоснительно-католическая, с традициями, отец — "легионист" и депутат польского сейма.) Брак был оформлен только в 1946 году, когда буря разметала и Польшу Пилсудского, и патриархальный еврейский быт. Ничего не осталось, кроме развалин. Никого не осталось из старшего поколения. Все погибли. Два мира должны были обрушиться, чтобы уничтожить препятствия к записи в актах гражданского состояния.

До этого Павел прошел через гетто, и из немецкого концлагеря помог ему бежать в 1944 году сам комендант. В Ченстохове уже не было евреев, но была у Павла жена. Она, рискуя жизнью, укрывала его в своей комнате. Для этого пришлось ей разобрать изнутри печь. День за днем она выносила в сумке по одному кирпичу, чтобы не бросалось в глаза соседям, пока не образовалось в печи место, где мог спрятаться человек. В этой комнате побывала однажды немецкая полиция с собаками — и ничего не заметила. За шесть месяцев в печи выгорело у Павла много привычных чувств и воспоминаний. После освобождения он принял "новую Польшу", стал журналистом, очень способным журналистом, редактором большой провинциальной газеты. С братом в Тель-Авиве переписка оборвалась. Мы считали его "потерянным".

С годами пришло жестокое разочарование. Столкнулись в душе этого человека никогда не умиравшая любовь к стране еврейского возрождения и нерушимая верность к той, что спасла ему больше чем жизнь — веру в человека. Жене Павла было страшно оставить Польшу. Она Израиля боялась, там будто бы придется перестать быть собой. Это неверно, но чтобы в этом убедиться, приехал Павел "посмотреть своими глазами". Причина, заставившая жену Павла решиться на этот шаг, — страх за их девятилетнюю девочку, уже успевшую почувствовать в школе ядовитое дыхание всеобщего в Польше антисемитизма.

Обыкновенная по нашим временам история. И вот теплая июньская полночь, терраса аэропорта в Лоде полна встречающих. Точно по расписанию загораются огни в небе, они спадают, и самолет снижается над посадочной полосой, подходит к аэровокзалу. Цепочкой растянулись пассажиры — из Лондона, из Вены. Ищем глазами — Павла нет. Все прошли ми-

мо, а чего нет. И вдруг вспыхивает худое лицо архитектора: "Это ты?" Пока мы искали Павла — стройного красавца с черной шевелюрой, — кто-то с лысым лбом и седыми висками, сутулый и плотный, уже несколько минут стоял перед нами, прямо против двери с ярко освещенной надписью "Вход для пассажиров". Стоит и молча, спокойно присматривается к брату. Обоим не легко узнать друг друга. Узнал, улыбается. А у архитектора краснеет нос и дрожит подбородок.

Через полчаса мчимся втроем по ночной дороге в Тель-Авив.

"Нет теперь в Европе народа, — говорит Павел, — нет общества, которое настолько было бы дезориентировано, деморализовано, лишено веры во что-либо, как польское. Подорваны все устои".

Павел не был в России.

"Молодежь в Польше, как куча песка, тронь пальцем — и она рассыпается на отдельные песчинки. Ненависть к советским оккупантам всеобщая. И недоверие к Западу. Синайская кампания вызвала много симпатий к Израилю".

Все в стране нравится Павлу, все очаровывает. Так мы сами когда-то реагировали, приезжая впервые. Но не все реагируют так сердечно. Характерно, что люди, прошедшие через иллюзию коммунизма, наиболее расположены к Израилю, а обыватели, никогда ничем не затронутые, настраиваются критически-полемиически с первых дней.

Особую категорию образуют лагерники из глубины России, со стажем восемь-десять и больше лет.

Одного — с глубоко запавшими глазами и в пергамент высохшим лицом — приводит его жена и напоминает, что была у меня "за советом" три года назад. И вот, три года ожидания — и муж нашелся.

Другой — только четыре месяца как из Инты,

что за полярным кругом. Рассказывая, постепенно разгорается, и руки у него начинают трястись мелкой дрожью.

Третий обходит редакции газет: почему ничего не делается для спасения тех, кто остался?

И каждый передает привет из подземного царства.

Один называет лагпункты, где восемь лет назад производились атомные работы. (К сведению тех, кто думает, что можно отделить проблему атомного разоружения от проблемы замкнутых и недоступных контролю лагерей принудительного труда в Советском Союзе.)

Другой рассказывает о том, что семьдесят процентов евреев записались в Литве на выезд в Польшу, к возмущению Хрущева, а еврейские учащиеся в школах открыто опровергают то, что учителя рассказывают им об Израиле.

Человек из Инты: в лагере Минеральном пятьдесят тысяч человек заключено в тринадцати ОЛП* для политических, а четырнадцатый пункт, для инвалидов, называют лагерем смерти. Эти десятки тысяч целиком состоят из высококвалифицированных интеллигентов. Он беспрерывно употребляет словечки, которых я не понимаю. Что такое красноперые? — охрана. В Инте он носил букву и номер на спине. Входя к начальнику, надо было сначала повернуться спиной, отрапортовать букву и номер и только потом повернуться лицом.

Человек из Инты выходит из-за стола и показывает, как он это делал. "В Караганде номер нашивают в пяти местах". — "Хуже или лучше стало в лагерях?" Все приезжие подтверждают, что семьдесят процентов политических распустили после ин-

* ОЛП — особый лагерный пункт.

дивидуальной проверки, — и все считают, что стало не лучше, а хуже. Но введены градации: лагеря с облегченным, общим и строгим режимом.

Надо провести ряд вечеров в беседах с такими людьми, чтобы возобновилось притупившееся с годами чувство ненависти и омерзения к правящей в России клике и ее режиму. Пятьсот молодых людей едут из США на Фестиваль молодежи, а из Израиля — двести. Эти люди не чувствуют ни ненависти, ни омерзения, а мы не в состоянии растолковать им, в чем дело.

Мириям Бродерсон, вдова поэта, обласканная и обжившаяся в Израиле, до сих пор еще не пришла в себя от кошмара тех лет. Из ее рассказов (они печатаются в американско-еврейской прессе) видно, в каком страхе и в какой заброшенности провел Бродерсон последние годы. Страх дошел до того, что на московском вокзале, уезжая, он еще озирается: "Вот сейчас подойдут, арестуют, и мы погибли". А сознание заброшенности, покинутости всеми было такое, что, подъезжая к Варшаве, старик волновался: "Где ночевать будем? Как багаж снесем?" — и не мог в первую минуту понять, что вся эта толпа на перроне, пятьдесят человек — встречающие, все пришли встречать его.

Тяжкая вина лежит на всех организациях и общественных кругах, что не умели в свое время и по сей день не умеют морально поддержать тех, кто в советской неволе чувствует себя преданным и покинутым, забытым всеми на Западе. И здесь я не могу не вспомнить, что в июле 1950 года, семь лет назад, я писал в Тель-Авиве о судьбе еврейских писателей, пропавших без вести в СССР, и указывал, что единственные, на ком лежит долг и кто имеет возможность выяснить их судьбу, — это их симпатизирующие коммунизму, вхожие в советские посольства, коллеги-

товарищи. Статья осталась без ответа, а теперь последние стихи Бродерсона переводятся на иврит теми, кто тогда яхшался с его тюремщиками и кланялся его палачам.

1957 г.

II

Артур Кестлер где-то высказал следующее мнение о столкновении коммунизма с демократическим Западом: "В этом конфликте двух мировых сил победа одной из сторон и полное поражение другой мало вероятно. Только война могла бы разрешить конфликт, но кто может хотеть войны в создавшихся условиях? Конфликт погаснет со временем, когда разрядится напряжение между двумя мирами до такой степени, что потеряет всякое политическое значение". И А. Кестлер привел пример: когда-то мир потрясла борьба христианства с исламом, но ни крестовые походы, ни джихады* не достигли своей цели, и кончилось тем, что религиозные конфликты перестали быть движущей силой истории. Итог мирового спора — ничья.

Пример не убеждает. Нельзя согласиться с Кестлером, что мировое соперничество мусульманских и христианских стран кончилось ничьей. Оно вообще не кончилось. Как раз в наши дни старая история получает неожиданное продолжение.

Припомним: в VII веке волна арабо-магометанского наступления обрушилась на Византию и страны Средиземного моря, проникла в Испанию, и только Карлу Мартеллу удалось задержать ее на полях. Фран-

* Джихад (араб.) — священная война мусульман против неверных

ции в 732 году. Прошли столетия, и Европа, в свою очередь, перешла в наступление. Крестовые походы длились двести лет, знамена крестоносцев развевались над Иерусалимом, Кипром, Дамьеттой, Эдессой...

Восток отбил атаку с помощью своих резервов. Теперь пришла очередь наступать туркам — от Константинополя в 1453 году до осады Вены в 1689 году.

В XVIII и XIX веках Европа снова переходит в контрнаступление, теснит Турцию, вторгается в Северную Африку и Левант. "Империализм" и "колониализм" привели фельдмаршала Алленби в Иерусалим. Еще не так давно казалось, что последнее слово в тысячелетнем споре осталось за христианским Западом. Восток измелывал, потух, разложился.

Но вот брызнули первые фонтаны нефти в арабских странах. Нефть несет богатство и политическое значение. В середине XX века наступает пробуждение Востока, и он переходит в наступление: четвертое по счету со времен Омара, Саладина, Сулеймана и Фаязета. Если не хватит своей силы, подсобит советскъ ѿ Никита, поддержит желтолицый Мао... Где на этот раз границы отступления Запада? Откуда взял Кестлер успокоительный тезис о ничьей в споре двух исторических стихий? История этого не подтверждает.

В истории дан перечень побед и поражений, смертей и катастроф, рождений и воскресений. Призраки истории гонятся за нами и вторгаются в жизнь. Откуда же взялись Гитлер и Сталин, как не из празиатского или пещерного прошлого? В истории ничего бесследно не проходит. Меняются обличья — религиозный фанатизм превращается в национальный, национальный — во всемирно-революционный, но остается постоянный ритм прибоя в исторической буре. Это она выносит на своем гребне хрущевых и насеров и тех безымянных случайных убийц, кото-

рые по улицам Багдада волочили искромсанное тело "потомка Магомета"... Эти темные дикари одарены сознанием, которого не хватает на Западе, что они делают историческое дело.

Демократия больна отсутствием веры в свою историческую миссию. Трудно уважать людей, которые сегодня ею руководят, не чувствуя, что наше время требует радикальных решений и героической смелости. Принято все сваливать на массы, которые находятся в плену элементарных импульсов... как если бы это было извинением или оправданием бездарности их правителей. В крошечном Израиле — на пути разбушевавшейся стихии — уцелела живая душа Демократии, ибо здесь люди готовы умирать за свободу и за то, что считают своим неотъемлемым правом. И не потому, что они лучше и моральнее других. Здесь просто нет иного выхода. Не люди, а сама ситуация приводит к героическому самоутверждению. Израиль — камень, о который может споткнуться нога Голиафа, камень из давидовой пращи. В чудовищности клеветы, которой осыпают эту маленькую страну, в сатанинской ненависти одних и циничном равнодушии других нет ничего нового — так всегда было в еврейской истории. Новое, чем отличается ситуация Израиля, заключается лишь в ее необыкновенной ясности и осмысленности, в возможности, впервые за 1800 лет, отстаивать себя силой оружия, силой творческого труда и силой свободного слова.

Здесь — и только здесь, как нигде в мире, — обзрима и видна сеть лжи и злодейства, которой опутан мир. Здесь не действуют фикции и не обманывают слова. Здесь открывается правда вещей, открываются глаза даже у охотников до "возвышающего обмана" и успокоительных иллюзий. Как и во всем мире, в Израиле люди ищут компромисса, соглаше-

ния... охотно согласились бы на ничью в споре диктатуры с демократией и в споре разбуженных национализмов. Но шансов на ничью или хотя бы на нейтрализацию нет никаких. Как в средние века, когда каждое религиозное или социальное волнение начиналось с гонения на местных евреев, так и в наше время стоит Израиль поперек дороги и, сам того не желая, загораживает ее обеим воюющим сторонам. Устраниться не в его власти. Коммунистам нужен Израиль именно в качестве "орудия западного империализма", а западные политики — такое впечатление иногда создается — почти толкают Израиль навстречу советскому влиянию. Какой удачей был бы для них просоветский Израиль! Вот когда можно было бы выступить в роли защитников арабов от угрожающей опасности! Эта идея прочно засела в британских мозгах. В 1956 году интервенция на Суэце, по мысли лондонского Форин Оффиса, должна была не допустить Израиль до захвата Суэцкого канала, а интервенция в Иордании летом 1958 года была нужна, чтобы спасти ее от еврейского нападения... причем все декларации в этом смысле по адресу Каира и арабских стран сопровождаются каким-то подмигиванием в сторону евреев, от которого становится и тягостно, и вчуже стыдно за уровень этой "дипломатии".

Возможно, Израиль за грехи свои и заслужил такое отношение. Грехов много. Евреи во всем виноваты. В Москве возмущены еврейской "неблагодарностью", а на Западе многих шокирует настойчивость, с какой евреи домогаются права жить в собственной стране. В самом же Израиле чепухи тоже не оберешься, но здесь, по крайней мере, одно всем ясно: восстановление еврейской государственности не только коренным образом меняет перспективы еврейского будущего, но и бросает новый свет на все страш-

ное, нечеловечески искаженное прошлое еврейского народа. Стоит, тысячу раз стоит пойти на риск и держать бело-голубое знамя над Иерусалимом!

Говоря о чепухе, нельзя не вспомнить о последней сенсации в стране: о массовом бегстве арабских фedaинов, т. е. террористов, захваченных в свое время с оружием в руках и содержавшихся в тюрьме Шатта. Свыше шестидесяти диверсантов бежало из тюрьмы в соседнюю Иорданию. Бежать было недалеко: насеровских героев в Израиле держали в трех километрах от границы. Режим был идиллический: арестанты сами открывали и закрывали ворота своей тюрьмы, а сторожившие их люди не умели обращаться с оружием и совершенно не ожидали такого "нарушения дисциплины"... Этот трагический фарс обошелся в одиннадцать человеческих жизней. Евреи плохие тюремщики. Организовал бунт египетский офицер, год назад привлеченный нашим правительством в качестве журналиста и противника Насера. Когда выяснилось, что "журналист" — агент египетской разведки, его посадили на год в тюрьму Шатта, и там он организовал массовый побег заключенных.

Это -- чепуха в масштабе маленьком и легко поправимом. А вот пример чепухи на "высшем уровне". Уже несколько недель продолжается правительственный кризис, вызванный уходом из правительства Бен-Гуриона религиозных министров. Израиль теперь фактически управляется коалицией трех социалистических партий (Мапай, Мапам и Ахдут авода) с маленьким довеском "Прогрессивной" партии. Вместе они располагают большинством в один голос (шестьдесят один из ста двадцати) в парламенте, причем в это большинство входит несколько (пять или шесть) арабов — сторонников Бен-Гуриона. Арабское меньшинство — стрелка весов. Минист-

ры не поладили между собой по вопросу, кого считать евреем в Израиле. Надо раз навсегда решить этот вопрос, так как основной закон в Израиле открывает двери страны каждому еврею и автоматически предоставляет ему гражданство (если он сам от него не откажется). В Израиль за последнее время прибыли тысячи семей, где муж или жена — не-евреи. Как записать их детей?

По сути дела, различаются: еврейское вероисповедание (которое может принять и японец), израильское гражданство (которое имеют все национальные меньшинства) и нечто третье — еврейская национальность или народность — понятие, не совпадающее ни с религиозными убеждениями, ни с государственной принадлежностью. Это последнее понятие — историко-духовного порядка: еврей, будь он неверующий или житель Патагонии, принадлежит к еврейскому народу в силу своего соучастия в его жизни и живой связи с его прошлым, настоящим и будущим. В этом смысле нельзя "записаться" в евреи, как нельзя "записаться" в грузины или французы. Это процесс самой жизни, а не отметки в паспорте.

Но какое, однако, дело до "историко-духовного процесса" чиновнику, заполняющему графу о национальности в документе иммигранта? Его, говоря философски, не касается "*ratio essendi*", ему нужно указать точно "*ratio cognoscendi*", т. е. формальное основание для записи данного лица евреем. На этой почве вспыхнул спор. Один министр, а также Бен-Гурион полагают, что достаточно факта приезда данного лица в Израиль в качестве иммигранта, чтобы он и его дети по решению, принятому по доброй воле, были записаны как лица еврейской национальности. С этим не могут согласиться религиозные члены кабинета: в их представлении национально-

сть и религия неразрывны. В прошлом всегда бывало так, что еврей, отказываясь от своей религии, переставал быть евреем. Для признания человека евреем не только достаточно, но и необходимо его вероисповедание. А когда речь идет о детях от смешанных браков, то даже обряд обрезания недостаточен: мать непременно должна перейти в иудаизм, ибо по древнему установлению — религия младенца та же, что религия его матери (не отца), а без религии нет и национальности.

Выход из этой путаницы прост, если отделить церковь от государства и изъять проблему национальности из компетенции тех, кто в наше время не имеет ни права, ни возможности распоряжаться. Весь смысл сионистской революции и еврейской жизни в том именно и заключается, что "народ" перестал уместиться в границах "религиозной общины". Если бы этого не случилось, не было бы и государства Израиль, светского государства. В Израиле впервые становится возможным то, что невозможно больше нигде в мире: можно остаться евреем по национальности, приняв христианство (такие случаи крайне редки и мне лично хорошо известны: евангелист-еврей в Петах-Тикве, всю жизнь отдавший родной земле, во всяком случае не худший еврей, чем ханжа в Бруклине, оплеывающий "безбожный" Израиль).

Но здесь именно и начинается царство религиозного фанатизма, политической спекуляции и откровенной чепухи, доходящей до сюрреалистических размеров: Бен-Гурион правит милостью арабов, а министры национально-религиозной партии пребывают в оппозиции.

1958 г.

Ш

Земля израильская на трех китах стоит. Если верить недругам, эти киты: западный империализм, сионистские захватчики и заграничные субсидии. Но если побывать на месте, то все оборачивается по-иному. Земля есть земля: зеленеют поля, виноградники и сады, красно-бурой "хумрой" и соломенно-желтыми песками светят придорожные просторы, золотом и медью горит закат над темной лазурью моря. Всюду рассыпаны белые домики селений, и если забраться в знойный полдень куда-нибудь в глушь и пойти по деревенской улице вдоль кактусовых изгородей, за которыми безмолвие нарушается лишь отдаленным клохтанием кур и утробным урчанием невидимого осла в невидимом дворике (подобным деревянному скрипу колеса в белорусской деревне), то становится ясно, что никаким западным и незападным империализмом этого не объяснишь.

Здесь, где ни копнешь, из-под земли проступает ее еврейское прошлое. Библия в землю вросла: пластами легли в землю судьи, цари и пророки.

А у подножия горы Табор — арабская деревушка Деборийе, по имени пророчицы Деборы. Той, что судила народ под пальмой на горе Эфраим.

В три часа ночи будят нас в Афуле. Городок спит, и уличные фонари погасли в центральной пальмовой аллее. Выходят, поживаясь и потягиваясь, участники ночной экскурсии. Трогается автобус — вперед в молчаливые белесые поля, туда, где огромной полукруглой тенью маячит в ночном сумраке Табор — цель нашей поездки. На горе Фаворской некогда бы-

ли три кущи, а ныне находятся там два монастыря — православный и католический. Высота горы над равниной — пятьсот сорок метров. Автобус минует Деборийе, где глухо лают собаки за низкими изгородами, и мы выходим — группа горожан. Отсюда по серпантинной горной дороге, выбитой в скалах, все выше и выше, пользуясь прохладой ночи, — туда, куда до нас и тоже, вероятно, ночью, вел Барак, сын Авиноамов, десять тысяч своих воинов, и с ним шла пророчица, опираясь на пастырский суковатый посох, а позже всходили ученики за Иисусом в развевающихся одеждах, отдыхая в дороге на горной каменистой тропинке (а у нас под ногами асфальт).

Мы мечтали поспеть к восходу солнца над долиной Изрезль, но туманная ночь подвела нас, и чем выше мы подымались, тем плотней был туман над нашими головами, висел на скалистых взгорьях, клубился над обрывами, закрывая даль, — и мы не увидели, как солнце взошло. Только вдруг посерело небо и побледнело вокруг, и между небом и землей, потерянные в каком-то нездешнем пейзаже, подавленные его пустынностью, суровостью, внемирностью, шли мы.

Выше, выше: никто не хотел признаться в усталости, и мы шли широкими шагами, дыша всей грудью, широко раскрытым ртом. А впереди нас, в растянувшейся цепи, неслась девушка лет шестнадцати в красном свитере, без малейшего усилия и напряжения, ровным пружинистым шагом, едва касаясь земли, точно в самом деле были у нее окрыленные стопы.

Земля — израильская земля — была в воздушной пропасти под нами. Через час мы пришли к месту, где дорога разветвлялась, и заметили, что мы одни: проводник с остальной группой не то отстал,

не то опередил нас. Пошли наудачу налево — и заблудились. Лазали по камням, тяжело прыгивая на заросшую бурым мхом землю. Постепенно охватило нас чувство призрачности всего окружающего, точно мы были во сне. За глухой стеной, к которой мы наконец пришли, были хозяйственные постройки монастыря францисканцев. Мы обошли их и вышли к главному входу в монастырь. Было еще рано, пусто, тяжелые ворота наглухо заперты. В ожидании, когда их откроют, мы сидели под стеной — толпа паломников — и вполголоса беседовали.

Арабская Деборийе — вот этими двумя монастырями увенчанный Табор (что значит "Центр" на иврите, а византийские греки выговаривали "Фавор") — все это Израиль, все вросло, оплело корнями израильскую землю. Три основания, на которых построен израильский национализм — это религия, история и труд. Они глубже всякой политики, и еще не родилась современная Европа, как уже на этих трех китах стояла израильская земля.

Для значительной части еврейских националистов нет и не нужно другого обоснования права на страну Израиль, кроме того, которое троекратно указано в Библии. Завет Аврааму: "Потомству твоему даю Я землю сию от реки Египетской до великой реки, реки Евфрат".

Этого совершенно достаточно для тех, кто каждую заповедь Библии принимает буквально или как практическое руководство к действию. Здесь корни абсолютной веры: не Библия родилась на земле Израиля в такое-то и такое-то время, как выражение чаяний и самоутверждения народа, а народ и земля Израиля в Библии, то есть в слове Божьем, родились, им созданы и без него — ничего.

И когда в Бейт-Эле праотец Иаков видел вещий сон, лестницу между землей и небом, по которой сходили

ангелы, — вся земля израильская, учат мудрецы, сжалась в клочок, на котором он спал, занимая его своим телом. От ног до головы — от Нила до Евфрата — покоился праотец Иаков, и Бог сказал ему: "Землю, на которой ты лежишь, Я дам тебе и потомству твоему". И если бы не это, были бы евреи чужими в Тель-Авиве и Иерусалиме, как они доселе чужие во всем остальном мире. Так верит каждый религиозный еврей, и разница между сионистами и несионистами только в том, надо ли уже сейчас приложить руку к спасению Святой Земли, или следует ждать покорно пришествия Мессии.

И если усомнится кто-нибудь в достаточности такого доказательства на право владения Землей Израиля, то в одном во всяком случае не приходится сомневаться: авторитет Библии в еврейском народе гораздо выше и бесспорнее, чем авторитет резолюции Объединенных Наций от 29 ноября 1947 года и последовавшего за ней признания еврейского государства.

Второй же кит, на котором утверждается идея еврейского национализма — кит исторический. Вряд ли полагались Герцль и его продолжатели на обещание, данное Всевышним Аврааму. Но они твердо знали, что тысячелетняя еврейская история создала связь между народом и землей, единственную в своем роде. Не только потому, что от времен Моисеевых до разрушения Второго Храма евреи жили здесь и закладывали фундамент будущей западной цивилизации, но и потому, и даже главным образом потому, что в последующие восемнадцать веков никогда не прерывалась связь, материальная и духовная, рассеянного народа с этой землей, в которой он не переставал видеть свой центр и средоточие национальной жизни.

— Что ж, спрашивают, эдак и итальянцы могут

предъявить притязания на Люгдунум, основанный их предками, древними римлянами, на современный Лондон?

— Да, если бы сохранили итальянцы или когда бы то ни было имели то же отношение к древней люгдунумской земле, как евреи к древнему Израилю, и ту же сохранили бы в течение тысячелетий тоску, и тягу, и духовную связь, и те же принесли бы жертвы ради верности земле, на которой построен Люгдунум, какие принесли евреи ради верности Иерусалиму, то тогда они, безусловно, сохранили бы право на землю, освященную их национальным преданием.

Живая историческая связь — нечто весьма конкретное для каждой эпохи еврейской истории — лежит в основании всех еврейских притязаний на Палестину. Отрицание этой живой исторической связи кем бы то ни было — отрицание самой жизни, акт мертвящей ненависти (евреи, со своей стороны, никогда не отрицали исторических прав арабского населения страны, основанных на тринадцативековом пребывании).

И третий кит — это та любовь к родной земле, которая выражается не в верованиях и преданиях, не в обычаях и убеждениях, не в духовной или не в одной только духовной связи, а в творческом, созидательном труде. Понятно, что предпосылкой такого труда является вера, религиозное или историческое основание, но с течением времени материальный и зримый результат усилий сам за себя говорит, свидетельствуя о праве народа на землю, преображенную его трудом. Незадолго до начала второй мировой войны подсчитали статистики, что во всем мире шестьсот тысяч евреев занимались сельским хозяйством и столько-то миллионов — другими видами труда. Однако эти сотни тысяч и миллио-

ны были только брызгами в море, участниками не ими созданных народных и национальных хозяйств. Никакая мера производительного труда не создает права на владение страной, если этот труд не лежит в самом основании созданной им новой действительности. За несколько десятков лет евреи вложили в израильскую землю больше труда, чем живущие на ней феллахи за все предшествующие столетия. И так родилось учение, без сомнения правильное, хотя временами и плохо сформулированное, что границы еврейского государства, в конечном счете, совпадут с границами, проведенными трудом. Что обрабатываем, обводним, озеленим и заселим, — то наше. На бесконечных пустынных землях Востока труду — еврейскому и нееврейскому — открыто огромное, непочатое поприще. Министр экономического развития Израиля М. Бен-Тов недавно выступил с утверждением, что при достаточном орошении и индустриализации Негева, т. е. южных пустынных пространств Израиля, там смогут проживать шесть миллионов человек. В наше время вера сдвигает горы, но не иначе, как с помощью надлежащей организации и технического аппарата.

В израильском национализме есть немало горечи и ожесточения, вызванных внешними обстоятельствами и внутренними препятствиями. Но в основе это движение, приятное людям, оптимистическое, но иногда до странности наивное в своем доверии к доброй воле народов и конечному торжеству мировой справедливости. — "Не может быть, чтобы они в конце концов не поняли!"

Недавно состоялся во Флоренции (по инициативе человеколюбца и праведника, бывшего католического мэра города Ла-Пира, и под покровительством итальянского правительства) съезд представителей стран Ближнего Востока. Условием было — не касать-

ся политических тем и говорить о вещах равно приемлемых для всех участников. На съезде этом впервые встретились арабские и еврейские представители. И хотя ровно ничего утешительного не было для евреев в арабском поведении и речах, но самый факт встречи признается в Израиле большим шагом вперед, так же как и приглашение делегатов из Израиля на будущую конференцию, созываемую в Фесе, в Марокко.

А сходили мы с горы Табор в ярком блеске летнего утра, когда солнце, наконец, пробилось сквозь рассветный туман и залило всю долину Изреэльскую.

Латинские полустертые надписи на мраморных таблицах, уединенный мир монастырского отрешения на руинах времен крестовых походов остались за нами. Перед нами открылась дивная панорама, точно мы парили на большой высоте над спокойным морем, очерченным замкнутой линией горизонта. Долина Изреэль лежала пред нами, как гигантское блюдо. Чем ниже спускались мы по извивам горной дороги, тем явственнее обозначились внизу квадраты и полосы полей, темные купы зелени; белые, блестящие на солнце линии дорог уводили туда, где лежала невидимая Тиверия, и просвечивал контур как бы повисшей в воздухе над краем горизонта горной гряды. И вот уже показалась под ногами деревушка Деборийе, отчетливо видимая у подножия Табора, вся точно вылепленная из цветного пластилина, и еще дальше за ней — похожий на крохотную божью коровку автобус, привезший нас из Афулы, терпеливо дожидался на краю дороги.

1958 г.

За прошлый 1958 год население Израиля увеличилось на пятьдесят восемь тысяч человек и перевалило за два миллиона. Если оправдаются ожидания, то в текущем году оно достигнет двух миллионов двухсот тысяч.

Цифры владеют нашей эпохой. Учет, расчет и план захватили наше воображение.

А для низкой жизни были числа,
 Как домашний подъяремный скот,
 Потому что все оттенки смысла
 Умное число передает.

Гумилев различал между Словом и Числом и жалел, что мертвые слова наших дней не поспевают за умными числами. Задача согласовать слова и числа никак не под силу политикам и вершителям судеб нашей планеты. Чем меньше, однако, государство, тем нагляднее и ближе нам неперенная связь и взаимообусловленность слов и чисел (число ведь тоже слово в ряду других слов и вплетено в основную ткань бытия).

Главное событие в Израиле этого года, тень которого падает на все происходящее в стране, это новый прилив алии, то есть массовой иммиграции, на этот раз из Румынии. В прошлом году прибыло до сорока тысяч иммигрантов из Польши. Теперь ожидается сто тысяч из Румынии. Они уже здесь: началось с шести тысяч в декабре. С каждым месяцем волна растет. На улицах и в автобусах Тель-Авива слышна румынская речь. Видим их всюду, узнаем по необычному выражению лица, напряженному и насторо-

женному, по походке, по манере водить за руку детей... В редакциях румынских газет оживление: сколько читателей прибыло! Но люди в кабинетах встречены не на шутку.

Эта алия пришла неожиданно. Сто тысяч может вырасти до двухсот пятидесяти тысяч, а это и есть все оставшееся румынское еврейство (было его восемьсот тысяч двадцать лет назад). Кто знает, не пришел ли конец двухтысячелетней эпопеи крови, слез, бесправия и мучительной борьбы с судьбой, имя которой — история евреев в Румынии. Почему решили румынские коммунисты выгнать своих еврейских подданных — неизвестно. Объясняют на все лады. В плане высокой политики: Хрущев якобы угрожает Насеру за неподчинение нашествием на Ближний Восток румынских евреев, а заодно и Бен-Гуриону — за строптивость. Возобновление румынской алии объясняют экономическими и политическими соображениями румынского правительства, а также необыкновенным упорством, с каким румынские евреи в течение десяти лет не переставали настаивать на своем праве жить в Израиле. (Со стороны советских евреев не было до сих пор такого открытого послушания, утверждается от их имени, что они всем довольны и счастливы.)

Из этих объяснений самое скотское — то, которое ставит судьбу румынских евреев в зависимость от политического шантажа в нечистой игре Хрущева с Насером, а относительно "самое человечное" сводится к желанию румынских партийцев избавиться от неудобного элемента. Но все объяснения могут оказаться беспредметными, если завтра угодно будет самодержцам в Кремле или Бухаресте прекратить выдачу разрешений на выезд. Тогда развеются надежды румынских евреев и кончатся затруднения израильских плановиков, а печать Каира и Дамаска

найдет новые поводы для воплей об "опасности, угрожающей арабскому национализму".

Тем временем надо на всякий случай готовиться к приему ста (другие говорят ста пятидесяти) тысяч ограбленных, лишенных имущества и средств иммигрантов. Еще не успели переварить сорок тысяч "поляков", переучить, расселить, рассовать по углам, как являются новые толпы интеллигентов и неквалифицированной рабочей силы. Как их устроить?

Первый этап плана предвидит устройство сорока тысяч человек (в бюджете на 1959—60 год ассигновано девяносто шесть миллионов израильских фунтов на постройку десяти тысяч квартир для новых иммигрантов). Второй этап — постройка квартир для следующих шестидесяти тысяч человек. Иммигрантов направят на север (в Галилею) и на юг (в Негев). Десятая часть их пойдет в деревни — в кибуцы и мошавы. На втором этапе начнется расселение городского элемента, на третьем — создание новых сельских поселений. По этому плану до конца года возникнут новые деревни в Галилее и на египетской границе (в районе Ницаны), и вырастет население четырнадцати городов, в том числе Назарета и Цфата, Беэр-Шевы и Ашкелона.

Уже на первом этапе нужны сверх предусмотренных бюджетом на строительство домов девяноста шести миллионов еще сорок миллионов. Двадцать из них дает волей-неволей израильское население. Придется ему, однако, выложить втрое больше. Это значит, что непосредственным результатом наплывающей массовой алии явится снижение уровня жизни в этой стране, где никак не удастся наладить спокойную жизнь: качает нас, как корабль в бурю.

Главное же бремя финансирования падет на "заграницу", через каналы Еврейского агентства — Сох-

нута. Придется, как и раньше, апеллировать к американским евреям. Что для них лишних сто миллионов? Дать могут, но захотят ли? В прошлом давали всегда на сионистские цели, но давали под нажимом, когда жестокая нужда и кризис становились близкой действительностью. И снова надо напомнить: предприятие сионизма — не слащаво-сентиментальная идиллия, не мирная колонизация по мере сил и возможностей. Сионизм — вызов судьбе, опасное дело. В нем драматическое напряжение неизбежно. Сто тысяч будут приняты и создадут неизбежный затор, кризис, смятение. Но распутаем и этот узел, как распутали предыдущие.

Главное затруднение не в деньгах, а в людях. Какую производительную работу можно им предложить? В Израиле нельзя "пристраиваться", надо строить с фундамента не только жилые дома, но и новую страну. Основное при этом — человеческий материал. Сто тысяч чернорабочих не найдут в Израиле приложения своим мускулам — им просто нечего делать на данной стадии экономического развития. Но сто тысяч румынских евреев — с помощью государства и Еврейского агентства — должны будут сами найти приложение своей творческой энергии и талантам в развитии ремесел и промышленности (и в меньшей степени в земледелии). Этот процесс не обойдется без перебоев и трудностей ввиду его форсированного характера и малого времени, которое дается на перестройку, но он неминуем и необходим, необходим буквально в том смысле, что обходных путей нет. Наличие таких необходимостей, требующих от людей крайнего напряжения всех сил и способностей, и делает жизнь в Израиле интересной, а помощь Израилю со стороны богатых и менее богатых родственников во всем мире — осмысленной.

"Человеческий материал" на этот раз прибывает

отличный. Это не примитивные выходцы из арабских стран и не прошлогодние польские евреи, которые привезли с собой, кроме домашних пожитков, культурную проблему особого рода. Люди с сионистскими симпатиями или просто с еврейскими сантиментами нашли дорогу из Польши в Израиль в первые же годы по окончании войны. Остались тогда в Польше те, кому Израиль был неинтересен и кто предполагал в Польше мирно сосуществовать с режимом "народной демократии". В конце концов и эти люди оказались вытолкнутыми — в силу неискоренимого антисемитизма, который отравил "мирное сосуществование". В Израиль многие из них принесли отчужденность, память о комфортабельном общественном положении в Польше, и многие долго жалели о старой, привычной родине. Характерно обилие смешанных браков: тысячи польских женщин приехали со своими мужьями... Румынские евреи не знают ни этих проблем, ни этих комплексов. Это тот, в массе простонародный, элемент, который говорит на идиш, не избалован прошлым, никогда не прельщался "мирным сосуществованием" с коммунистами и вышел из Румынии только что не наг и бос. Эти люди не смотрят на Израиль как на страну, которая недостаточно "прогрессивна", но возмущаются тем, что в школах навязывают их детям изучение Танаха, и отдают себе полный отчет как в характере страны, так и в трудностях своего нового положения.

1959 г.

V

Ричард Кроссмэн, известнейший лейборист и член Англо-американской комиссии по делам Палести-

ны 1946 года, проездом из Китая задержался в нашей стране и прочел ряд лекций. Ричард Кроссмэн всегда благожелательно относился к евреям и неизменно ошибался в своих высказываниях о них. Так, в 1945 году он писал, что считать евреев особой нацией — это рефлекс антисемитизма, а Палестина — слишком опасное место, чтобы служить им убежищем. Год спустя он считал, что после раздела Палестины едва ли сто тысяч иммигрантов найдут в ней место, после чего придется перейти к "высоко-селективной" политике и забыть о массовой иммиграции. Шести-стам тысячам недобитых жертв Гитлера он давал благожелательный совет подождать, пока их примет Америка. Об этом он сам с юмором рассказал в лекции на тему "Задача Израиля между Западом и Востоком". Однако и после лекции осталось неясным, какая это задача и почему нужно евреям, вечным посредникам между разными народами и классами, ставить себе какую-либо иную (политическую) задачу, кроме той, чтобы уцелеть в конфликте враждующих мировых сил.

Ричард Кроссмэн, влиятельный член левого крыла лейбористской партии, управляющей Великобританией попеременно с консерваторами, высказался в пользу строгого нейтралитета Израиля. Он горячо рекомендовал нам политику неприсоединения к существующим блокам. "Такие государства, — сказал он, — как Швейцария или Швеция, нейтральны по существу, нейтральны из принципа. Вы же должны быть нейтральны из расчета, так как этого требует ваш очевидный израильский интерес". Аудитория из говорящих по-английски израильских граждан реагировала холодно. Докладчику по окончании лекции были заданы щекотливые вопросы.

Первый: "Как случилось, что высокородный лорд Эттли, лидер рабочей партии, публично назвал ошиб-

кой британскую политику поддержки Еврейского национального дома в Палестине?”

Второй: ”Как может Израиль отказаться от поддержки и реальной помощи Франции ввиду враждебной, в лучшем случае равнодушной и неуважительной, позиции многих нейтральных государств Азии и Африки?”

Третий: ”Чем, собственно, объясняется особый интерес к Израилю со стороны г-на Кроссмэна?” На этот последний вопрос, ухмыляясь от уха до уха, докладчик ответил: ”Я всецело обязан этим Эрнесту Бевину”. Как известно, именно Бевин, закоренелый антисионист в лоне британской рабочей партии, делегировал в 1946 году Р. Кроссмэна в состав Англо-американской комиссии, обследовавшей положение в Палестине.

”Врагов имеет в мире всяк, но от друзей спаси нас, Боже...”. Странные это друзья, предлагающие Израилю держаться подальше от них. Нейтралитет Израиля — лозунг фантастический в условиях, когда один из блоков под водительством Москвы открыто враждебен Израилю. Нейтралитет, как и дружба, может быть только обоюдным. Бывает любовь без взаимности, но не существует односторонней дружбы.

Советская пропаганда обвиняет Израиль в том, что он — порождение и орудие западного империализма, но в действительности Израиль в борьбе со смертельной угрозой, висящей над ним, ищет союзников там, где может их найти. Его внешняя политика всецело определяется нуждами самообороны. Назвать агрессором еврейское государство и есть самое агрессивное измышление советской травли в расчете таким путем купить арабских политиков. Государству в положении Израиля не спасти себя от наступающих сил врага одним неприсоединени-

ем. Наоборот, его единственный шанс отстоять себя заключается в максимальном смыкании со всеми теми силами, которые заинтересованы в его существовании, или, по крайней мере, не заинтересованы в его гибели.

Иммиграция из Румынии так же неожиданно прервалась, как неожиданно началась. Возможно, что она так же неожиданно возобновится опять. Во всяком случае ни при чем здесь "гуманизм" румынских коммунистов, которые не поправят своей репутации, отпустив сто тысяч несчастных румынских евреев, и не ухудшат ее, задержав их силой. Их московским хозяевам выгодно и желательно поддерживать ложь об Израиле как "орудии западного империализма". Эта фикция позволяет им плыть в мутных волнах арабского национализма.

Теперь, когда передрались между собой Насер египетский и Касем иракский по причинам, ничего общего не имеющим ни с Израилем, ни с действительными нуждами их темных и бедствующих народов, в Израиле ощущается некоторая передышка. Меньше стреляют на границах и спокойнее чувствуют себя жители пограничной полосы, в Галилее и в районе Газы (несмотря на происходящие время от времени нападения и убийства). Передышка временная — но время ведь умнее, чем люди, которых оно ведет вперед, часто вопреки их воле. Чего же можно ждать от будущего?

Можно предвидеть, что коммунисты используют обоих своих ставленников — и Касема и менее податливого, но более от них зависимого египетского "фюрера". При усердном содействии западных держав их как-нибудь помирят, пока оба они, каждый по-своему, служат московским интересам. Ни Лондон, ни Вашингтон еще не проявили политической инициативы на Ближнем Востоке со времени

Суэцкой кампании, если не считать "конструктивной политикой" прошлогоднюю гастроль англо-американских войск в Ливане и Иордании. Лишь Франция, которая ликвидировала у себя политический хаос и надеется вывезти сорок миллионов тонн нефти из Сахары к 1965 году в обход Суэцкого канала, сделала выводы из советского вторжения на Ближний Восток.

Визит короля Иордании Хусейна произвел, конечно, впечатление в США и в Англии. Это был визит благодарности тем, кто спас его от участи политического эмигранта. Хусейн уцелел, но по-прежнему девяносто пять процентов его подданных настроены против него и только ждут, чем кончится спор Каира с Багдадом. В Израиле можно наблюдать смятение умов в арабских кругах в результате этого спора: в Назарете демонстрировали арабы-коммунисты в честь Касема, а в близлежащей деревне поклонники Насера сожгли коммунистические газеты и избили их доставщика.

Как в шахматной партии: "Ваш ход, господин Запад". Время на обдумывание хода ограничено, и кто опоздает — теряет партию.

Как в шахматах, в политике надо уметь рассчитать положение на несколько ходов вперед. Образец "шахматного" мышления дали Советы в 1939 году, правильно рассчитав, что за Гитлером последнее слово не останется, а он тем временем расчислит им позиции в Центральной Европе. Или после войны, когда подарили Польше германские территории со Щецином, правильно рассчитав, что это обострит ее конфликт с западным соседом и надолго привяжет Польшу к московской колеснице. Или когда Советы неожиданно поддержали в 1947 году Израиль, голосуя за независимое еврейское государство. Тогда речь Громыко и его голосование в

ООН объясняли желанием поддержать силу, которая вытесняла англичан из мандатной территории. Наивные сионисты думали, что это им награда за боевые подвиги против британского империализма. Но теперь ясно, что расчет был намного дальновиднее. Еврейское государство без поддержки Москвы должно было оказаться в западной орбите; на второй стадии взяли его в штыки московской пропаганды. И потом — выступили в роли покровителей и благодетелей арабского национализма с помощью вольта, который западные мудрецы так же мало предвидели, как в 1939 году договор Сталина с Гитлером.

Если бы можно было обойтись в политике одной хитростью и ловкими маневрами, то дело западной демократии было бы безнадежно проиграно. Но к счастью, делают историю не только дипломаты и мудрецы вроде Кроссмэнов, Иденов и несравненно более ловких Царапкиных. Иногда вмешивается в дипломатическую игру стихийное, безрассудное упорство живых народов, желающих остаться в живых, несмотря на то, что где-то кто-то их оценивает как пешки на шахматной доске.

1959 г.

VI

Вот уже месяц, как израильская печать занята судьбой "Инге Тофт", датского парохода с израильским грузом, задержанного египтянами в Порт-Саиде. Дня не проходит, чтобы не было сообщений о судьбе "Инге Тофт", о шагах, которые предпринимаются в связи с этим инцидентом то в секретариате г-на Хаммершельда, то в Каире, то в британском парламенте, то датскими властями, то правитель-

ством Филиппин, куда направлялся груз израильского цемента.

”Инге Тофт” — не первый задержанный египтянами пароход. И чем больше шума, тем яснее, что никаких шансов и никакой возможности ”переубедить” Насера нет. Суэцкий канал надолго закрыт для израильских грузов, под какими бы флагами их ни отправляли.

Правда, это противоречит известной резолюции ООН, признающей за Израилем право пользования каналом. Но в данном случае Насер не склонен считаться с директивой ООН. Против урезонивающих его он располагает веским аргументом, заключающимся в том, что именно Израиль является стороной, нарушающей постановления Объединенных Наций. 29 ноября 1947 года пленум ООН большинством в две трети голосов установил границы Израиля. Согласно воле Объединенных Наций Иерусалим и многие другие города и местности должны были остаться за пределами еврейского государства.

Каковы бы ни были мотивы, побудившие израильское правительство послать ”Инге Тофт” в безнадежный рейс, и какие бы вмешательства ни последовали, позиция Насера в этом вопросе, очевидно, не изменится. С точки зрения международного права своеволию хозяев Суэцкого канала, не пропускающих израильские грузы, предшествует нарушение Израилем постановления Объединенных Наций, в силу которого Иерусалим с прилегающей областью должен был быть интернационализирован, Яффо с ее портом, Лод и Рамле, Западная Галилея с Назаретом, столица Негева Беэр-Шева и другие местности — оставлены во владении арабов.

Припомним, что первоначально, т. е. до вторжения пяти арабских армий и начала военных действий в 1948 году, израильское правительство не возража-

ло против предложенных ареопагом наций границ. Дошло до того, что весной 1948 года, готовясь к ожидавшейся атаке, израильское правительство предложило нейтральным (скандинавским) странам прислать войска в Иерусалим, чем был бы гарантирован его интернациональный статус. Но правительства христианской Европы предпочли оставить город на произвол судьбы. Судьба его решилась кровью его защитников и героизмом гражданского населения, которое выдержало осаду и отстояло свой город.

Теперь, одиннадцать лет спустя, сложилась совершенно новая обстановка. Многолюдные города стоят на месте бывших деревень и захолустных местечек. Иерусалим, Яффо, Рамле, Лод, Беэр-Шева заселены сотнями тысяч израильских граждан. Не изменился только приговор ООН от 29 ноября 1947 года. Он по-прежнему "обязывает" в теории, если не на практике, и по его буквальному смыслу пребывание израильских властей в Иерусалиме, в части Тель-Авива, называемой Яффо, где грузят на экспорт яффские апельсины, в Беэр-Шеве, в Галилее, в Нагарии — нелегально. В арабских изданиях все эти местности обозначены как "захваченные области", а границы Израиля указаны в соответствии с резолюцией 1947 года.

Как случилось, что границы государства Израиль, спустя одиннадцать лет после его возникновения, не признаны и не санкционированы той инстанцией, которая в смысле международного права вызвала его к жизни и ответственна за его существование? Постановление 1947 года о разделе Палестины на три части нереально и потеряло всякий смысл. Нарушить существующие границы Израиля невозможно без войны, которая положила бы конец его существованию, и без катастрофического разрушения

того, что создано. Постановление ООН от 29 ноября 1947 года стало юридической фикцией. Однако именно на него опираются по сей день арабские националисты, оправдывая "неподчинением Израиля решению Объединенных Наций" свои агрессивные действия.

Пока это постановление остается в силе, невозможно разрешение арабо-еврейского конфликта.

Эта фикция свидетельствует о несерьезном отношении к международному праву со стороны тех, кто призван быть его законодателями.

Можно спросить, почему израильское правительство до сих пор не выступило с требованием ее отмены?

Такое выступление в данных условиях осталось бы бесплодной демонстрацией (как рейс "Инге Тофт" через Суэцкий канал), но оно, по крайней мере, коснулось бы корня, сути (в правовом смысле) арабо-еврейского спора.

По-видимому, Израиль в данном положении считает для себя тактически невыгодным "брать быка за рога". Сама мысль о том, что следует требовать отмены абсурдного плана перед международным форумом, который его породил, представляется здесь многим чистым донкихотством.

Раз нет шансов заменить план раздела 1947 года другим планом, то лучше вообще не затрагивать этот вопрос, — так думают многие в Израиле. Этот "реально-политический" подход заключает в себе немалую дозу политического цинизма и полнейшего неуважения к постановлению пленума ООН. Кажется, что его единственным результатом был отказ большинства аккредитованных при израильском правительстве послов иностранных государств обосноваться в Иерусалиме, не признаваемом ими столицей Израиля. Но гораздо более глубокий и траги-

ческий смысл этого оперирования фикцией заключается в том, что никакая перемена к лучшему в арабо-израильских отношениях невозможна, пока эта резолюция не будет убрана с дороги, как загораживающая путь колода.

Время для соглашения между Израилем и арабскими государствами еще не пришло. Трудно представить себе, какие другие границы могла бы установить или признать Организация Объединенных Наций вместо уже существующих одиннадцать лет. Но одно кажется ясным: судьба резолюции, которая в 1947 году исходила из тогдашних данных и тогдашней политической обстановки, — быть ей рано или поздно аннулированной. Если когда-нибудь вообще (как мы верим) спадет напряжение на Ближнем Востоке, вызванное основанием Государства Израиль, то первый шаг к этому примирению будет состоять именно в аннулировании резолюции о границах 1947 года. Даже если она и не будет непосредственно и сразу заменена другой, — отказ от нее открывает дорогу для окончательного соглашения. До сих пор на предложение израильского правительства вступить в непосредственные переговоры арабы отвечали указанием на резолюцию ООН, как на непременимый исходный пункт этих переговоров. Этим создавался тупик.

Резолюция 1947 года о разделе Палестины — не единственная резолюция ООН, повисшая в воздухе и лишенная исполнительной силы. Вспомним, как реагировали Объединенные Нации на венгерское восстание. Но, пожалуй, она единственная из резолюций ООН, обязанная своим сохранением не принципиальной установке защищать основы международного права, а — бессилию творческой мысли и отсутствию последовательности.

Политический климат нашей эпохи нездоров, это

климат топкого болота и непроницаемых джунглей. В них затаились страшилища, готовые в любую минуту вылезти из своих логовищ и дебрей. Мы ждем очистительной бури, которая бы разогнала нависший над нами кошмар. Откуда придет перелом к лучшему?

Можно лишь выразить надежду, что перелом начнется не только с оздоровления политической структуры Запада, но и с последовательного проведения в жизнь принципов международного права.

1959 г.

VII

Распалась коалиция. Бен-Гурион подал в отставку. В больших городах состоялись уличные демонстрации. Созваны сотни митингов. Улицы заклеены плакатами: "Оскорблена национальная честь! Не позволим, не допустим до позора! Спасем душу народную!"

Почему? — Заметка в гамбургском журнале "Дер шпигель" о том, что боннское правительство закупило партию израильского оружия, была перепечатана тель-авивской прессой и вызвала бурю. "Мы вооружаем немцев?" — И загорелся сыр-бор. Не будь заметки в гамбургском журнале, все, вероятно, обошлось бы. Четыре члена правительства (левые социалисты), возмущившиеся против Бен-Гуриона, знали об экспорте оружия в Германию (и в другие страны) с начала года; знали, не одобряли и не собирались по этому поводу подымать шум. Все изменилось, когда появились газетные заголовки. Экспорт оружия в Западную Германию стал политическим вопросом.

Политическая подоплека скандала ясна. Точно

так же в 1955 году перед выборами в Кнессет распалась правительственная коалиция. В ноябре этого года состоятся выборы в израильский парламент. Можно было предвидеть, что за некоторое время до выборов партии, участвующие в коалиции с партией Мапай Бен-Гуриона, используют тот или иной предлог, чтобы подчеркнуть свою принципиальность и самостоятельность. Каждой из конкурирующих партий лучше иметь перед выборами полную свободу тактики и не быть впряженной в правительственный рыдван Бен-Гуриона.

К политическим и моральным аргументам противников сделки с Германией трудно в данном случае относиться серьезно. Одни с невинной миной спрашивают: "Как же вы хотите, чтобы СССР изменил свое отношение к Израилю, когда вы вооружаете антисоветскую армию Западной Германии?" Эти "нейтраллисты" не жалеют сильных слов: "шесть миллионов долларов за шесть миллионов убитых!" По их мнению, можно продавать немцам израильские апельсины, но не гранатометы. Это те самые господа, которым "национальная честь" не мешала приветствовать Сталина, замалчивать или преуменьшать его преступления, радушно протягивать руку погромщикам сионизма и убийцам еврейских писателей, по сей день сладко улыбаться Хрущеву и отлично себя чувствовать на фестивалях и съездах, организуемых Москвой. Фразеологию партийных политиков и защиту ими "души народной" позволительно не принимать всерьез.

Людей, по всякому поводу склоняющих "шесть миллионов убиенных немцами", мы в излишней чувствительности и деликатности не обвиняем. Недавно и московская "Правда" сочла нужным упомянуть "шесть миллионов" и при этом укорить сионистов их "короткой памятью"... хотя этим правдолю-

бцам должно быть хорошо известно, какая часть этих миллионов была советским правительством прямо передана в руки Гитлера при дележе Польши и сколько сотен тысяч погибло в их собственных лагерях и местах ссылки до конца войны. Другое дело — еврейская масса в Израиле, сабры или выходцы из Азии и Африки, никогда не бывавшие в Европе. Эти люди готовы верить, что армия западногерманской республики 1959 года — та самая армия, которая двадцать лет назад шла под знаменами Гитлера. В этом убеждении ее утверждают бессовестные люди, рассказывающие, что Аденауэр — наци и что немцы — извечный и неисправимый "народ убийц".

"Народ убийц!" — "Ам амерацхим!" Каждый, знакомый с еврейской историей, знает, каким болезненным эхом отдаются эти слова в еврейской душе. Ведь "народом убийц" и "дьявольским народом" прослыли евреи в средние века. В монографии И. Трахтенберга "The Devil and Jews", изданной в 1943 году в США, подробно рассказано о возникновении и развитии этого демонического мифа, в который верили многие европейские поколения темных людей. "Мердерфольк" и "Тойфельсфольк" называли их тогда немцы, и не одни только немцы. "Народ убийц!" Круговой порукой были связаны тогда евреи, и одна трагическая вина тяготела над всеми.

Каждый, имеющий малейшее представление о еврейской истории, знает, что ее отличительную черту составляет некоем образом затянувшееся средневековье. В Германии Гитлера вулканически прорвалось средневековье, которое под тонким слоем последних двух-трех столетий дремлет и доныне в глубине европейской цивилизации. Но у евреев средневековье зримо и ощутимо по сей день на самой поверхности жизни. Легче снять черный кафтан с тела, чем с души. При малейшем потрясении оживают призраки прошлого.

Оживает комплекс заклеяменного народа. И с какой нерассуждающей страстью, с какой силой, с каким вызовом разуму и очевидности возвращают массы в Израиле немцам то страшное клеймо, которое они сами носили в прошлом: "Народ убийц!" — "Амерацхим!"

Есть для этого полное психологическое и историческое обоснование, ибо еще в памяти время, когда каждый немец, в мундире или в штатском платье, наводил ужас, и встреча с ним угрожала смертью. Других немцев не видело и не знало население гетто. И как следствие — по сей день единственными в мире сторонниками подлейшей нацистской теории, отождествлявшей Гитлера с Германией и видевшей в гитлеризме откровение немецкой души — оказываются в массе евреи, не оправившиеся от шока того времени. Можно ли винить их? Но понять — не значит принять и оправдывать.

Германофобия принимает подчас в Израиле отталкивающие, постыдные формы. Год назад состоялся у нас Международный съезд партизан и организаций сопротивления времен войны. Прибыли греки, французы, бельгийцы, итальянцы... Единственными, кого израильские партизаны отказались допустить на свой съезд, были их немецкие товарищи — активные участники боев с гитлеровцами, вина которых была в том, что они как немцы принадлежали к "народу убийц". Это крайний пример, но без преувеличения можно сказать, что для многих германофобов в Израиле явление "хорошего немца" просто невыносимо; они не хотят слышать о "хороших немцах"; какая-то из глубины подсознания идущая потребность заставляет их хотеть, чтобы каждый немец был гитлеровцем. Зло должно быть персонифицировано; анализировать, различать — значит снижать ненависть. "Народ убийц" — это средневековое

изобретение избавляет от необходимости искать разгадку происшедшего несчастья в политической идее, в духовном извращении, которое на протяжении определенного исторического периода охватило народы, и с особенной силой — народ немецкий.

Вульгарный антигерманизм, ослепляющий и оглуляющий людей, которых нельзя обвинить в невежестве или незнании истории, привел к тому, что обличение нацизма, как особенно уродливой формы человеконенавистничества, часто заменяется в израильской печати, в общественной жизни и в международных отношениях отрицанием всего немецкого. Не надо вслушиваться в музыку Рихарда Штрауса, достаточно, что он занимал официальный пост в Третьем рейхе. Неважно, что солдаты ныне формируемой армии Западной Германии во времена Гитлера были детьми; достаточно, что они принадлежат к "народу убийц". Не имеет значения, что Германия Аденауэра и Вилли Брандта стала снова органической частью Запада; достаточно, что Аденауэр — "наследник Гитлера". Социологически верно, что масса немецкая, как масса любого народа, подлежит воздействию тех или иных политических идей: вчера гитлеровских, сегодня демократических на западе, коммунистических на востоке Германии. Но меньше всего позволительно именно израильским националистам, знающим, что "народ" нельзя отождествлять с одним его поколением, как бы оно ни было уродливо и жалко, меньше всего позволительно проповедникам свободы и национального возрождения объявлять безусловный бойкот немецкому народу.

Поскольку антигерманская кампания в Израиле выходит за пределы преднамеренной демагогии и не сводится к безответственной реакции безответственных людей, она служит свидетельством одной слабости: слабости демократического сознания. Она го-

ворит об отсутствии веры в будущее демократической Европы. То, что вчера удалось Гитлеру и сегодня коммунистам — подчинить своему руководству народ, — якобы не может удасться демократическим воспитателям и лидерам Западной Германии. Люди, которые так думают, готовы громоздить горы на горы, чтобы не допустить нормализации отношений с "наследниками Гитлера". В то же время они не умеют воспитать свою собственную молодежь так, чтобы она понимала сущность и значение борьбы идей в современном мире и умела ориентироваться в происходящих переменах.

Одним атавизмом, воспоминаниями и болью прошлого не может прожить народ, окруженный волчьей ненавистью, как евреи в Израиле. И даже если бы в Германии сегодня было не более десяти-пятнадцати процентов свободных от яда, которым пропиталось старшее поколение, — надо верить, что именно это меньшинство и составляет авангард нации, с которой мы будем сосуществовать, — хотим ли мы того или нет.

VIII

К великому разочарованию влюбленных в Израиль (издалека) и почитающих страну великих свершений (платонически) оказалось, что действительность не так уж розова. Действительность отстоит от идиллии дальше, чем могли себе представить читатели патетического "Эксодауса" Леона Уриса или книжечки моего приятеля Александра Галина* "Еврейское государство". Там, в этой книжечке, где-то сказано, что Израиль граничит со всем миром и со всем человечеством и оттуда все видно, что есть на земле и на

* Псевдоним Ю. Марголина.

небе. Может быть, это и так, но сами-то жители этой необыкновенной страны давно уже сошли с котурнов и переживают не со вчера "кризис романтики".

Палестина на пороге столетия была унылой, серой, нищей страной. Романтику туда импортировали выходцы из европейских стран. На первых порах немного им было и нужно. Помнится, Ахад-Гаам рассказывает где-то о торжественном чувстве, с каким созерцал он закат солнца над морской далью с высоты Кармеля. Ничего не осталось от времен величия и славы, и самые руины рассыпались в прах. Но вот этот бесконечный морской простор и полог вечерней зари над ним, видимый с Кармеля, — они ведь те самые, остались такими же, какими видел их пророк Илия! Этого было достаточно для Ахад-Гаама, чтобы ощутить глубокое волнение. Для билуйцев * было достаточно и служило источником вдохновения, что они пахали землю на месте древней Явне — Ямнии Иоханана бен Заккая.

Иначе переживали очарование Святой Земли те, кто строил в начале тридцатых годов новые, сияющие белизной и чистотой улицы Тель-Авива. Так были чисты и нарядны эти улицы, что люди стеснялись плевать на мостовую. С тех пор облупились и потрескались, раскрошились и потемнели двадцать пять лет не крашенные фасады. Что тут говорить: грязно в Тель-Авиве. Метут усиленно, и городские власти угрожают стофунтовым штрафом за оброненную на тротуаре бумажку, а все грязно. Повседневность вытесняет праздник, и в переполненном городском автобусе, держась за штангу, не размечаешься.

Минула романтика первых лет строительства и уступила место трезвой и упорной настойчивости

* Билуйцы — группа еврейских студентов, отправившаяся из России в Эрец Исраэль — БИЛУ — аббревиатура на иврите: "Дом Иакова, придите и пойдем!"

хозяев страны с ее разноплеменным населением. Оказалось, что легче открыть неограниченный доступ в Израиль евреям из Европы, Азии и Африки, чем осуществить их гармоническое слияние в одно национальное целое. Не так просто уменьшить различие культур и уровней жизни.

Резко отличаются не только европейские евреи от "черных" — солнцем сожженных выходцев из Южной Аравии и северной Африки, но и среди этих последних кроткие и непритязательные "йемениты" отличны от порывистых и темпераментных "марокканцев".

"Марокканцами" называют здесь массу около ста шестидесяти тысяч послевоенных иммигрантов из Северной Африки. Не все они прибыли из Марокко. Почти все еврейское население Ливии перекочевало в Израиль. Из нищих еврейских кварталов (мелла) Касабланки, из марокканского и алжирского захолустья прибыли десятки тысяч. Там они вели беспросветную жизнь париев, окруженные недоверием и открытой враждой фанатиков мусульманского национализма. Тому, кто их путает с владельцами универсальных магазинов в Каире, я бы рекомендовал жуткую повесть французского писателя С. Груссара.

"Йемениты" в Израиле оказались хорошими фермерами, неприхотливыми чернорабочими. Но "марокканцы" — другой элемент. Они хлебнули городской культуры, говорят по-французски, и ждуть от них жертвенности первых сионистов-кибуцников не приходится.

В Израиле их ждала обидная неожиданность. В то время как там, в Африке, они были евреями и гордились этим, именно здесь, в Израиле, они стали для европейских евреев и благоустроенных старожилов — марокканцами. Их расселили по отдаленным районам.

Многие из них, попав в непривычные условия жизни, самотеком повалили в города, где ничего не было готово к их приему, и облюбовали себе трущобы Хайфы, похожие на трущобы Касабланки. Обида росла, росло и подозрение, что их считают гражданами второго сорта.

Мировая печать недавно разнесла весть о беспорядках в Вади-Салибе, Мигдал-Азмеке и Безр-Шеве. Многие добрые души искренне опечалились. Теперь, когда шум улегся, можно спокойно сказать, что было больше крику, чем беды, и больше разбитых стекол, чем разбитых надежд. Нелепо говорить о расовой проблеме и преднамеренной дискриминации в Израиле. Здесь нет Литтл-Рока и Ноттинг-Хилла. Никакая опасность с этой стороны единству Израиля не угрожает.

Современный Израиль, как вообще все сионистское движение, в первую очередь обязан своим существованием евреям с Запада, их политической инициативе и пионерской роли в освоении страны, их организационным талантам, европейскому образованию и, разумеется, капиталам. Выходцы с Арабского Востока примкнули к движению поз и многие с большим опозданием. Отсюда — неизбежная опека "старших братьев" и частые конфликты, когда "опекуны" не умеют или не хотят удовлетворить законные (и незаконные) притязания своих подопечных.

В процессе слияния и выравнивания главную роль играют школа и браки, для которых в Израиле предложен термин "израильские" — в отличие от "смешанных". Смешанные браки — между евреями и неевреями здесь не редкость; "израильскими" же называются браки между евреями белыми и смуглыми, между ашкеназим и сефардим, когда родители же-

ниха родились в Москве, а невесты — в Алжире, Багдаде или еще дальше.

Весь этот процесс требует времени и долготерпения. Не всегда вызываются конфликты "марокканцами", как в это лето. Года четыре назад нашумел школьный конфликт в Реховоте, где европейские родители отказались посылать своих детей в школы с "полудикими" арабчатами. Социально-бытовые конфликты такого рода неизбежны на первых порах. Жалобы на дискриминацию при устройстве на работу или при распределении квартир в новых домах напоминают ссоры в длинной и нетерпеливой очереди. Польские или русские евреи в подобных случаях не устраивают бурных демонстраций, не бьют окон и не атакуют полицию, как "марокканцы". Они зато осаждают польское и советское консульства, прося, чтобы их отправили обратно. В каждой массовой волне иммиграции имеется процент (пять—десять процентов) неприспособившихся, разочарованных и обиженных. Люди эти протестуют, возвращаются туда, откуда прибыли, и многие потом раскаиваются в поспешном шаге. Советская печать со злорадством печатает письма с жалобами эмигрантов в Израиле. Но проверка показывает, что большинство жалобщиков давно уже устроились на новом месте.

Бывают и отвратительные сцены, когда люди в приемной советского консульства клянут, забрасывают грязью страну, которая их приняла, лгут, пресмыкаются и подписывают унижительные прошения на имя товарища Ворошилова. Когда читаешь об этом, душа исполняется гордостью за наших "марокканцев". Это люди горячего темперамента, могут и нахулиганить, зная, что их, в конце концов, не обидят. "Марокканцы" за себя постояли и еще постоят. Из их общей массы более восьмидесяти процентов живут в неосвоенных районах. Почти двадцать процентов пошли в деревню. Галилея и Негев, район Лахиша, пунк-

ты, которых недавно не было на карте, заселены "марокканцами".

И то, что наскандалили, в конце концов пошло на пользу, если не самим демонстрантам, то массе тех, которые за ними стоят. Встрепенулись комиссии, учреждения... Из девятнадцати тысяч жителей Вади-Салиба семь тысяч в первую очередь получают новые квартиры.

Израильская действительность трудна и недекоративна. Романтику любителям следует привезти с собой и тщательно беречь, чтобы не растерять на улицах и дорогах страны. Или искать ее там, где настоящий идеализм — глубоко, в невидимых глазах тайниках сердца.

1959 г.

IX

Недавно состоялась в Иерусалиме студенческая дискуссия на тему о политике израильского правительства по отношению к местным арабам. В дискуссии участвовали студенты и профессора, евреи и арабы. В последовавшем голосовании была принята, хотя и незначительным большинством, резолюция, осуждавшая израильское правительство за то, что оно не сделало всего, что можно было сделать для сближения с арабами.

Это более чем вероятно. Всегда можно сделать больше и лучше, чем сделано, особенно в такой области, где ошибок и недоразумений, вытекающих из взаимных подозрений, отсутствия опыта и горячности темперамента, было и остается множество.

Сделано ли все нужное и возможное арабами? Такой вопрос просто нелеп. Арабы в целом, от Марокко до Персидского залива, резко враждебны Израилю, и пока эта враждебность продолжается, израильские арабы

между двух огней продолжают считать себя осколком в чужой среде.

На днях в Лондоне вышла книга журналиста Уолтера Шварца "The Arabs in Israel". Книга написана отлично и живо, с предельной объективностью. Автор полтора года провел в Израиле и добросовестно изучил вопрос. Из нее мы заимствуем отчет о встрече автора с лидером коммунистической партии в Израиле и членом израильского парламента (до последних выборов) Эмилем Хабиби.

"Хабиби никогда не был в Европе (однако, заметим в скобках, уже успел съездить в Москву и быть гостем советского правительства), но дом его — самый европейский в Назарете... Сочетая арабскую театральность с марксистской подкованностью в диалектике, Хабиби красноречиво защищает партийную линию на Ближнем Востоке:

— Нет, мы не против Израиля. Но мы за право каждой нации на самоопределение. Это право имеют евреи и арабы. Евреи уже самоопределились согласно резолюции ООН. Но арабы Палестины еще должны бороться за свои права. Мы не против существования Израиля, мы против его политики. Беда в том, что Бен-Гурион мыслит и поступает, как если бы проблема Палестины уже решена. Она не решена.

На довольно очевидное возражение, что арабы грозят уничтожением не Бен-Гуриону, а израильскому государству, Хабиби отвечает, что такое положение — результат, а не причина.

— Прогрессивные элементы среди арабов были одно время готовы к соглашению с Израилем, если бы он вел себя разумно. Но мы не можем принять Израиль, пока он остается орудием империалистов.

Считает ли он, что Израиль должен отказаться от районов с арабским населением, независимо от всех соображений государственной безопасности? Хабиби

заявляет, что арабы Израиля должны иметь полную свободу выбора — основать свое собственное государство, примкнуть к другому арабскому государству или остаться в пределах Израиля.

Но что если в результате такого самоопределения яффских или назаретских арабов Израиль перестанет существовать? — На это Хабиби имеет не один, а два ответа. Во-первых, после заключения мирного соглашения Израилю нечего опасаться. А во-вторых — самоопределение евреев не обязательно должно выразиться в собственной государственности. Евреи могут самоопределиваться как-нибудь иначе, без собственного государства”.

Не стоит продолжать эту выдержку из книги английского журналиста. Если коммунист и член израильского парламента, араб, предлагает Израилю самоликвидироваться, то это дает представление о том, что думают и чувствуют арабские националисты в массе.

И это объясняет (а по мнению многих, и оправдывает) осторожность израильских властей, считающих преждевременной отмену военного положения в арабских районах страны.

Вот как описывает Уолтер Шварц свою встречу с военным губернатором Галилеи, где проживает большинство израильских арабов, полковником Иошуа Вербином.

”Это не бряцающий языком и саблей вояка типа ”политика не мое дело, я солдат и больше ничего”. Под мундиром бьется сердце сионистского ветерана, идеалиста, фермера из Реховота, мобилизованного в прошлую войну, еврея из Омска, у которого было 45 лет, чтобы познать палестинскую действительность.

Есть мнение среди руководителей израильской политики, что времена нацизма еще не прошли, — говорит полковник Вербин. — Мы в Израиле окружены,

как было окружено Варшавское гетто, и должны быть готовы к самому худшему.

На Ближнем Востоке коммунизм и национализм издавна связаны. В этом опасность для нас со стороны арабского меньшинства. Всюду в мире под коммунистами подразумевают людей, желающих изменить социальный строй. Здесь они хотят уничтожить нас и наше государство. Их союзники, наши враги, всюду, кругом. Старый муфтий Иерусалима когда-то клялся, что он готов сойтись с чертом, чтобы погубить евреев. Нам приходится быть начеку. Всякий вел бы себя так на нашем месте. Вы, англичане, разве поколебались интернировать сэра Освальда Мосли во время вашей войны?"

Для разрешения в будущем арабо-израильского конфликта важен непрерывный рост экономики страны. Минувший год был годом экономического преуспевания для граждан Израиля. Экспорт вырос на шестьдесят миллионов долларов, сельскохозяйственная продукция — на шестнадцать процентов, промышленная — на четырнадцать процентов. Производительность труда поднялась в среднем на пять—шесть процентов, национальный доход увеличился на двенадцать процентов, которые, к сожалению, не отразились на росте сбережений, иными словами были поглощены населением. Инвестиции прошлого года составили девятьсот миллионов, в наступающем — составят девятьсот восемьдесят миллионов израильских фунтов.

До тех пор, пока кривая экономического роста Израиля будет идти вверх, правительству и партии Бен-Гуриона обеспечена поддержка подавляющего большинства населения.

1960 г.

Х

24 апреля 1960 года, в семнадцатую годовщину восстания в Варшавском гетто, в девять часов утра, замерло на две минуты движение в Тель-Авиве и по всей стране. Люди на тротуарах стояли молча, опустив головы, автобусы задержались; казалось, даже облака в небе замедлили бег. Сирена выла над окаменевшим городом. Две минуты молчания — и потом все по-прежнему.

Накануне в президиуме торжественного собрания, которым открылся ежегодный День траура по жертвам Гитлера, среди многих заслуженных и признанных достойными занять почетное место, двое привлекли особое внимание: Владислав Ковальский, поляк, в прошлом полковник, спасший жизнь десяткам евреев в оккупированной Польше, и Давид Франкфуртер, в 1938 году застреливший в Швейцарии фюрера тамошних гитлеровцев. Христианин и "террорист". Оба не много помогли, но оба — каждый по-своему — воспротивились недоброй силе.

Евангельское "подставь другую щеку", как и еврейское "око за око, зуб за зуб", разумеется, не следует понимать как буквальное предписание, а как образ и иносказание. Буквально они никогда и никем не применялись. Никогда не может подставить другую щеку тот, кто от первого удара валится замертво. В евангельской метафоре заповедано пренебрежение жизнью ради неземного блаженства, а в библейской — требование справедливости, суда и воздаяния земного. Не делай другому того, чего себе не желаешь, а не то — смотри, как бы не потерять тебе самому того ока, которое

отымешь у другого. Еще иначе: "Поднявший меч от меча и погибнет", хотя, возможно, этот второй мечено-сец будет не намного лучше первого. А все же нельзя приравнивать Давида Франкфуртера к швейцарскому наци. Обоих, хотя и по-разному, жаль. Жаль, сына раввина, который убил. Жаль цюрихского немца, который не родился наци, а стал им по своей вольной воле.

Опрос израильской газеты "Ламерхав" среди учащейся молодежи в возрасте пятнадцати—шестнадцати лет дал такие результаты: тридцать шесть процентов опрошенных никогда не слышали о концентрационных лагерях и не знают, что это такое. Сорок один процент не знают, не слышали о газовых камерах. Шестьдесят четыре процента не прочитали ни одной книжки об ужасах и преследованиях в гитлеровские годы и гибели европейского еврейства. Двадцать два процента даже приблизительно не могли указать, сколько евреев погибло в Катастрофе.

Можно только радоваться тому, что дети в Израиле живут вне кошмара и не имеют даже отдаленного представления о том, что случилось до их рождения в просвещенной Европе нашего времени. Родившись в своей стране, они не имеют воспоминаний, которые преследуют старших до конца жизни. Они могут знать о прошлом только по книгам и рассказам. От школьных программ зависит, чтобы они узнали то, что знать надлежит не на шестнадцатом, а на семнадцатом и восемнадцатом году жизни. Не приходится сомневаться, что знание это придет вовремя и не слишком поздно, чтобы предостеречь от опасности, которая только временно отодвинулась и угрожает им, как и всему миру, но им больше, непосредственнее и грознее, чем всему миру.

В этом можно видеть провиденциальное значение Израиля для судеб человечества. На нем в первую очередь демонстрируется, чего стоит та или иная идея,

куда и зачем дует ветер истории, какая и где собирается буря. Тут проверка и практическое испытание всяческих измов, высоких слов и возвышенных учений. Порой может показаться, что Израиль для того и существует, чтобы выворачивать изнанку явлений и отделять мнимое от действительного. Израилем испытываются люди и боги.

Сам по себе Израиль не блещет особыми достоинствами. Всякая идеализация и разукрашивание тут неуместны и вредны. Народ как народ. Среди опрошенных репортером мальчишек и девчонок только один из трех мог ответить на вопрос: "Что такое концентрационный лагерь?", но зато девяносто шесть процентов были отлично осведомлены насчет Брижит Бардо. Такой же результат, вероятно, получился бы в Швейцарии или любой другой стране, не испытавшей гитлеровского нашествия.

Какая, в сущности, разница между арабами и евреями? У арабов — нефть, Суэцкий канал, обширные территории и десятки миллионов населения. У Израиля — клочок земли и два миллиона населения. Их прошлое, настоящее и будущее мало интересует политиков. Их демократия — сомнительное достояние слабых. Что перевесит в споре? Что подсказывает благоразумие?

Благоразумие подсказывает израильскому правительству крайне осторожную позицию по отношению к Объединенным Нациям. Это учреждение в 1956 году было очень принципиально по отношению к Израилю... но не к Венгрии. ООН несет полную ответственность за совершающиеся на Ближнем Востоке бесчинства, пока не аннулирована изжившая себя резолюция ООН о границах Израиля и праве миллиона арабов на возвращение в пределы государства, которого они не признают. Здесь корень зла... Пока эта резолюция остается в силе, никакие паллиативы не устроят арабо-израильского

конфликта. Но благоразумие велит обходить основную трудность за тридевять земель.

Благоразумие диктует израильскому правительству более чем осторожную позицию по отношению к Никите Хрущеву, агенты и присные которого не стесняются говорить об Израиле и сионистском движении языком Геббельса и Розенберга.

Благоразумие особенно советует израильской обществу не возлагать также больших надежд и на солидарность стран Запада. Тут сочетаются в один узор три фактора: экономические интересы, политические силы и моральные принципы. Коммунизм учит, что экономика ("в конечном счете", как выражался Энгельс) управляет всем; политика определяется интересами, а мораль — только бесплатное приложение, рефлекс или своего рода "световой эффект" для красоты. "Что мне полезно, то и морально". С этой точки зрения Израиль при данном соотношении сил осужден. Каждый, усвоивший себе эту точку зрения на Западе, вступает на путь, который рано или поздно приведет его к коммунизму.

Но что же противопоставить этой теории? Папа римский, владеющий ключами св. Петра, велит молиться за евреев, но и он "благоразумно" воздерживается от признания Государства Израиль. Нью-йоркские моряки обижаются, что их подвергают репрессиям в Египте и вносят в "черный список" за то, что они не участвуют в арабском бойкоте Израиля. Насер оказывается требовательнее Гитлера, который не наказывал американцев за несоблюдение Нюрнбергских законов. По мнению благоразумных американских политиков, не стоит раздражать "национальную гордость" арабских патриотов. Не лучше ли примириться с маленькими неудобствами во избежание гораздо больших неприятностей для американских интересов? Они правы: стоит ли связываться в крупный конфликт со всеми арабски-

ми странами? Пусть уж какая-нибудь сотня американских судов откажется от посещения арабских портов, но зато тысячи других американских кораблей и фирм, соблюдая требования бойкота, будут чисты перед арабским миром. И волки останутся сыты, и овцы целы. Это голос благоразумия.

Но что, если волки, по своей волчьей природе, захотят еще чего-нибудь? Где граница уступок? Где та граница, несомненно существующая, когда мораль становится самостоятельным историческим фактором?

Вопрос этот, если вдуматься, тождествен с вопросом: что, собственно, может Запад противопоставить коммунизации мира? Не менее Гитлера расшатывает Насер устои демократического сознания и ведет его навстречу моральной катастрофе. Израиль может еще века ждать признания Ватикана. Он как вопрос стоит перед совестью мира. В годовщину истребления шести миллионов он почтил Ковальского-католика, который пожалел евреев, и Давида Франкфуртера, который по своему решению и личному импульсу взял в руки оружие. Но выход для Израиля, как и для всего человечества, не в геройстве одиночек. И, может быть, нужно нечто большее, чем благоразумие, чтобы найти этот выход.

1960 г.

РУССКИЕ В ИЗРАИЛЕ

1

Русские в Израиле не являются национальным меньшинством, как арабы или друзы, и, в отличие от немцев, никогда не пробовали селиться массово на Святой Земле. Немцы-колонисты проникли в Палестину в XIX веке, создали ряд цветущих поселений и жили с евреями в дружбе и согласии, пока грех не попутал. Две тысячи их было интернировано в начале последней войны; дома, украшенные свастиками и портретами фюрера, опустели и в новом Израиле не нашлось им места. Несколько сот русских продолжают жить в Израиле. Они разбросаны по всей стране, неорганизованы и не складываются в одно целое, которое можно было бы назвать русской колонией.

Можно различить две группы русских: религиозную, паломническую, еще до первой мировой войны прибывшую в страну, и беженскую, отдельные брызги великой войны, выплеснувшей их из России после революции и особенно по окончании последней войны. Русское подворье, пятиглавый собор с зелеными куполами в центре Иерусалима, построенный еще во времена

Николая Первого, — символ России паломнической. Первый русский приехал в Палестину в 1106 году — игумен Даниил, ходивший ко гробу Господню и оставивший замечательное описание страны времен крестоносцев. Советское правительство паломников не посылает, но прислало в Израиль архимандрита Поликарпа от русской духовной миссии и представителя "Археологического общества", притязающего — пока безуспешно — на наследство бывшего Русского православного общества в Палестине (земли и дома).

Из числа монахов и монахинь, находившихся к началу арабо-еврейской войны 1948 года на территории Иерусалима, меньшая часть перешла на арабскую сторону, в Старый Город и Бет-Лехем (Вифлеем), а большинство — около ста человек — осталось в Эйн-Керем под Иерусалимом и в Яффском монастыре (при котором живут также и члены советского посольства). После 1945 года часть русских в Палестине взяла советские паспорта, часть решила остаться. В Войне за независимость участвовали также русские добровольцы, отдавшие жизнь за восстановление еврейского государства. Только единицы вернулись в Советский Союз, в отличие от местных армян, в массе реэмигрировавших в Армянскую ССР. Об этих армянах рассказывают, что один из них, прощаясь с приятелем в Хайфе, условился с ним так: если жизнь в Ереване понравится — пришлет фотографию, где будет снят стоя; если не понравится — сидя. В конце концов в Хайфу прибыла фотография — лежа.

В один из последних дней октября собрались мы на экскурсию по стране с приятелем Крамаровским. О нем стоит рассказать отдельно. Александр Федорович, донской казак, голубоглазый, загорелый, седой, с энергичными движениями и юношеской горячностью (ему шестой десяток пошел), седьмой год живет в Израиле. В прошлом он советский педагог и директор

подмосковной десятилетки. В свое время бездетный Александр Федорович взял из детского дома трехлетнюю сиротку по имени Рива и удочерил ее. Жене выбор его не понравился. Александр Федорович развелся с женой, а Риву оставил и воспитывал пятнадцать лет, пока не нагрянули немцы в 1941 году. Пришлось Риву переименовать в Риту, но гестапо все же Крамаровского арестовало. Александр Федорович, однако, доказал свое арийское происхождение и отстоял дочь. Обоих выслали на работу в Германию. По окончании войны Рива вышла замуж в Германии за приезжего израильянина, эмиссара Хаганы. Так попал Александр Федорович в Израиль, в город Беэр-Шеву, на край южной пустыни. В Беэр-Шеве зять его, ныне майор, занимает видный военно-административный пост. С внуками Александр Федорович разговаривает по-русски, а сам открыл в себе талант живописца: на веранде дома в Беэр-Шеве устроена мастерская, рисует он маслом пейзажи, исключительно русской природы, со снегами и соснами, которые неплохо идут в Израиле.

В тот день мы собрались посетить нескольких русских знакомых в Эмеке*. Автомобиль в полтора часа примчал нас из Тель-Авива в Хайфу. В поезде долго, в автобусе тряско, лучшее средство сообщения в Израиле — это "шерут", т. е. маршрутное такси на семь пассажиров.

В Хайфе пересели в автобус, поднялись на Кармель, откуда несравненный вид на город и залив. Город в три этажа: внизу порт с обычной сутолокой, складами, трущобами, выше — новый город Гадар, т. е. Краса Кармеля; совсем высоко — виллы, пансионаты, рощи и знаменитый католический монастырь, давший имя ордену кармелитов. Мы выходим на тихой улочке: ка-

* Эмек — сокращенное название Эмек Изреэль, т. е. Изреэльской долины.

литка с простым деревянным желтым крестом, за ней просторный двор церкви Ильи Пророка.

Там сосны, крепкий запах хвои, земля покрыта плотным настилом опавших иголок и шишек. Небольшая церковка укрывается в глубине двора — по праздникам бывает там человек двадцать—тридцать... Дом у ворот деревянный, ветхий, вероятно, стоит с конца прошлого века. Встречает нас Федосья Александровна, русская женщина с открытым и симпатичным лицом. В 1912 году приехала она в страну с группой паломников, да так и осталась. Дети ее родились и выросли в стране. Мы разговариваем с ее младшей дочерью, которая одинаково легко говорит по-русски, по-английски и на иврите. Русский язык в устах этой девушки, никогда не бывавшей в России, звучит забавно, с мягким акцентом, похожим на немецкий. Так, видно, должны говорить русские, родившиеся на Кармеле. Узнав, что я пишу в газеты, Нина пугается, и я даю ей слово, что не буду сообщать о ней никаких лишних подробностей.

Отсюда поднимаемся еще выше на Кармель и не без труда добираемся до Владимира Филимоновича Марцинковского. С ним я уже давно хотел познакомиться. Домик Марцинковского, увитый цветами, висит над обрывом, ведет к нему крутой каменный спуск, который с переулком и заметить трудно.

Хозяин — седоусый и типичнейший российский интеллигент — один из подвижников христианства в Израиле. Вся его жизнь посвящена пропаганде евангельского христианства. Он — русский баптист (в отличие от американских баптистов, хоть и не знаю в чем разница). Марцинковский в первые годы Октябрьской революции боролся с атеизмом, выступал на диспутах с Луначарским (тогда еще допускались "диспуты") и в 1923 году после тюрьмы и переживаний, о которых сам рассказал в книге "Записки верующего", был выслан за границу. Уже тринадцать лет безвыездно в стра-

не. Звали его в Канаду профессорствовать — отказался. В комнате его книги — на полках, на стульях, на полу. Библия на восемнадцати языках. Марцинковский сотрудничает с Библейским обществом в Лондоне, занят переводом Библии на русский и украинский (перевод Кулиша уже устарел). Мягкий, сердечный голос, в молодых глазах выражение непоколебимой радостной веры. Счастливцев! Он и меня, провожая к порогу, пробует завербовать в Евангельские братья, снабжает адресом в Тель-Авиве, вручает брошюры, вышедшие в стране: "Сущность христианства" и "Ответ христианина проф. Клаузнеру", автору знаменитой книги о Христе с еврейской точки зрения.

Перед отъездом в Эмек успеваем еще навестить Бровко Василия Ефимовича. Вот еще одна русская биография сталинской эпохи. Стоит перед нами человек лет сорока пяти, с кротким усталым лицом белоруса. В 1930 году Бровко перешел русско-афганскую границу с группой из тринадцати человек. Были в том числе два еврея. Мыкался пять лет по Персии и Месопотамии. Работал в порту Басра в Ираке. В конце концов пробрался нелегально в Палестину. Пятнадцать лет спустя — он слесарь, мастер на все руки, работает в "Сако-ни вакуум", женат на православной, говорящей по-русски арабке, имеет четырех детей. Это безропотный труженик. Помогает он и родным жены в арабской деревне Рами. В комнате Бровко масса диковинных вещей: резьба по камню, игрушки-бабочки, сделанные с большим мастерством и только-только не летающие. Кроме того, Бровко показывает папку чертежей "летающих тарелок": он разработал план летательных аппаратов круглой формы, со всеми подробностями, и, глядя на чертежи, нам становится ясно, что это человек творческой фантазии, механик-мечтатель, один из тех самородков-самоучек, которыми так богат был всегда русский народ. Сколько таких безвестных Бровко в рус-

ском народе! Сколько их погибло при попытке перехода через границу и в скитаниях по чужим землям!

С Крамаровским мы возвращаемся в блестящий центр Хайфы. Садимся за столик кафе на улице Герцля, мимо льется толпа, зажглись вечерние огни, мерцают зеленые, красные, розовые неоны, и последние автобусы уходят за город. Мы садимся в такой автобус и в восьмом часу вечера отбываем в Эмек.

Три четверти часа спустя бредем по пыльной дороге в темноте, только цикады звенят, за нами гора — гора и огоньки. Это деревня Кирьят-Харошет. Здесь обосновалась семья Жулиных — свидетели Иеговы. Эта секта встречается во многих странах. О героическом поведении ее последователей в гитлеровских лагерях я читал в известной книге Маргариты Бубер-Нойман, но с русскими свидетелями Иеговы встречаюсь впервые.

Входим в просторный деревенский дом бетонной постройки, обычной в Израиле. Незатейливая мебель, но есть электричество и радиоприемник. Хозяина не застали — уехал на охоту в Хуле (там в болотах дикие вепри). Встречает нас приветливая и милая Поля, Пелагея Александровна, и рассказывает, как в двадцать четвертом году всей семьей (девять детей!) "кralи" румынскую границу. Отец-молочанин из-под Моздока привез их в Святую Землю, и тут Поля, которой было тринадцать лет, испугалась прививки, увидев шприц в руках врача, подняла крик: "Обманули! Мед-молоко обещали (отец по Библии объяснял: "Страна, текущая молоком и медом"), а тут иголки ширяют!"

Двор Жулиных — центр для русских всей округи. И "дядя Александр" из Беэр-Шевы чувствует себя здесь как дома. Мое внимание привлекают брошюры на русском языке в яркой кричащей обложке: "Кризис" и "Почему преследуют свидетелей Иеговы?", лежащие на столе. Брошюры напечатаны в Америке. Слышал ли кто-нибудь о таком авторе: судья Рутфорд из

Чикаго? Это главный идеолог и писатель свидетелей Иеговы, и по распространению могут сравниться с его писаниями только... сочинения Сталина. Сто тридцать миллионов! Брошюра "Кризис" (о великой депрессии 1932 года) напечатана в двадцати двух миллионах экземпляров, так указано на обложке. И маленькая Валя, белобрысая и живая, как ртуть, девчонка семи с половиной лет, с озорными глазами и звонким голоском, которая при появлении гостей немедленно соскочила с кровати, при виде брошюры в моих руках принимает необыкновенно достойный и постный вид:

— Это божеская книга!

— Валя, а ты в Тель-Авиве была?

— А как же! И ган хайот видела! (зоологический сад).

— А с кем ты играешь здесь?

— У меня товарищи: Шломик и Юдит!

На следующий день утром Валя, как вихрь, врывается в комнату, где мы с Александром Федоровичем еще лежим в постелях.

— Я около дяди греться буду!

— Молода ты еще около дяди греться! — внушительно произносит Александр Федорович, и мы выходим во двор. Двор Жулиных лежит в ложбине между гор. Огород. Лошадь пасется на полянке. Гуси, куры, индюшки за загородками.

— Это все наше! — победоносно кричит Валя и ведет меня вперед: там свинарник, поросят тридцать всех размеров. Самых маленьких каждые два или три часа кормит молоком из бутылки Пелагея Александровна. Огромная матка лежит, отвалив рыло.

— Вот эти все наши! — объясняет Валя. — А эти с шу-тафом (с компаньоном). Идите смотреть, какое кушанье для свинок!..

Во дворе чан с пойлом из тыквы и другой — с сечкой. В Тель-Авиве ветчина идет по 11 и 12 фунтов ки-

ло, свиноводство выгоднее молочного хозяйства, поэтому Жулины весной продали коров и купили поросят.

Возвращаемся к завтраку. За столом разговор ведется о божеском. Я спрашиваю Сашу, парня шестнадцати лет, с большими руками и ногами и стыдливой улыбкой на широком лице:

— Ты тоже свидетель Иеговы?

— А как же!

Он учится во французской миссионерской школе, еще со времен англичан. Школа бесплатная, гуда и многие евреи отдают детей (из самых религиозных, считающих светскую сионистскую школу бóльшим соблазном, чем открыто нееврейскую).

Зато девочка второго Жулина-брата в соседнем поселке Нешер ходит в еврейскую школу: под рукой, и школа хорошая.

Старшая сестра Вали с мужем недавно уехали в Калифорнию и хорошо устроились. Это соблазн для Сашы, но сама Пелагея Александровна тверда: "Мы, свидетели Иеговы, о мирском не думаем, что имеем, тем довольны, нам и здесь хорошо".

Позавтракав, мы с Крамаровским пускаемся в дорогу. До ближайшего поселения Кфар-Йегошуа шесть километров. Там тоже русские. Идем не спеша, и Валя нагоняет нас на лошади: босые ножки торчат вперед, в глазах восторг, и улыбка во весь рот без двух верхних зубов.

— Ух, зелье-девка! — говорит Александр Федорович.

Выходим на деревенскую улицу. Валя пускает лошадь рысью, ребятишки бегут навстречу, и она естественно переходит на иврит:

— Аль тига ба'ус! (Не тронь коня!) — кричит детям.

Валю в Кирьят-Харошет знают все. Тяжелый грузо-

вик пылит мимо; работник, стоя сзади на платформе, оглядывается на нее и весело машет рукой.

2

Афула — город, где пересекается множество коммуникационных линий Нижней Галилеи. За последние годы он разросся, оброс новыми пригородами. Выйдя за городскую черту, мы пошли прямо по полю, по протоптанной стежке среди сотен новых маленьких белых домиков с черепичными крышами. Далеко за ними стоял Табор (гора Фаворская), как круглая шапка, с белым пятном монастыря на вершине — место, где, по преданию, свершилось чудо Преображения, и Петр сказал Иисусу: "Равви, хорошо нам здесь быть", и предложил построить три кущи: для Учителя, Моисея и пророка Илии. Теперь в сотнях домиков у подножия Табора живут евреи из Южной Аравии и другие — с европейского севера. Рядом — иммигранты из Асмары, итальянского Сомали и семья Милюхиных. Эфиопия и Кавказ, Йемен и Каспий.

Как попали Милюхины в Израиль? Очень просто. Милюхины имели рыбные промыслы где-то южнее Баку, близ персидской границы. Ловцы — для них море то же, что орловскому мужику ржаное поле или охотнику тайга. Милюхины ловили осетра, севрюгу, белугу (а какой балык делали!). Конечно, и рабочих держали. В должный срок их раскулачили. Дом, снасть, лодки — все пошло в колхоз. Но море в колхоз не запишешь, и море — вольная дорога в свет; оно манит, прельщает. Милюхины украли собственную лодку и под двумя парусами — четверо взрослых, четверо детей — прокрались мимо стражи в открытое море. Трое суток были в пути и прибились к персидскому берегу.

Было это в 1932 году, а в 1950-м, после долгих мы-

тарств на дикой персидской земле ("У них русского зарезать — семь грехов простится"), Милюхины решили опять придвинуться к морю, и, кстати, представилась оказия: в Еврейском комитете в Тегеране, где Милюхина год полы мыла и никакой работы не боялась, ей предложили со всей семьей, если желает, место в самолете в Израиль. Так Милюхины прибыли в порядке иммиграции персидских евреев на самолете, прошли обычную процедуру неимущих иммигрантов в Израиле: семь месяцев в палатке, а потом — бесплатный дунам земли на поселение, жилплощадь в серийном домике с выплатой шести фунтов в месяц, сорок пять метров труб для орошения огорода, тринадцать кур — и хозяйничай, как знаешь.

Милюхины — молокане. Ужиться могут везде и всюду. Однако на рыбную ловлю Милюхина не взяли — стар показался, да и что за рыба сардинка для человека, привыкшего к каспийским осетрам. Вот и приходится Милюхину служить где-то при полиции, сын слесарничает, а мать дома хозяйничает. И надо сказать, что никто из соседей не имеет такого огорода, где ни один вершок не остался неиспользованным, клубника на грядках и еще место осталось для птицы.

В домике — примерный порядок, цветочки, коврики, занавесочки, на стенах цветные картинки из иллюстрированных журналов. Место "Нивы" заняли вырезки из журнала "Америка" на русском языке. Америка — цель Милюхиных, они терпеливо ждут, пока друзья перешлют разрешение на въезд и консул в Хайфе включит их в русскую квоту. Суждено им вернуться к морю, но на сей раз это будет не Средиземное с пустяковой сардинкой, а Тихий океан у берегов далекой Калифорнии.

Мне не повезло в этот приезд, и я не застал дома Милюхиных. Времени было мало, нас ждали в другом месте. Мы выбрались из Афулы довольно поздно.

У въезда в Назарет полицейский остановил машину: "Проездом? Пассажиров не ссаживаете?" — и махнул рукой. Мы промчались по узким улочкам арабского города, до сих пор остающегося под военным управлением, мимо кофеен, мимо главной в Назарете церкви Благовещения, в подземельях которой показывают за решеткой место, где стоял дом Иосифа и Девы Марии, и скатились в равнину. Объехали Табор с другой стороны. Здесь, на полях, где Саладин разгромил крестоносцев, ныне невозмутимый мир и покой, один за другим мелькают цветущие кибуцы и колонии, среди них Седжера, где Бен-Гурион работал батраком.

Миновали столб с надписью "Уровень моря" и начали спуск в Тиверию. Озеро лежит в глубокой впадине, и еще до того, как открывается вид на Кинерет — Галилейское море в форме арфы с панорамой города на западном берегу, — видна круто нависшая стена противоположного высокого берега. Прекраснейший вид, и нет сомнения, что он не много изменился с евангельских времен. Так же точно дремало озеро-арфа на ста семидесяти квадратных километрах, в рамке гор и селений, и таким же точно видели его глаза галилейских рыбаков и их Учителя, когда спускались они из Канны, Назарета и Верхней Галилеи к Капернауму или Магдале... Тиверию Ирода Антипа еще только начинали строить в те времена. В миг, когда за поворотом дороги внезапно открывается дивное озеро, у впервые приезжающих вырывается восклицание восторга, а кто уже знаком с Кинеретом, ищет глазами и то, чего не видно: субтропическую зелень долины Иордана (который невидимо втекает с севера, вытекает на юг) и далеко в прозрачном воздухе хребет Хермона, покрытый вечным снегом и различимый только в ясную погоду.

Уже смеркалось, когда мы добрались до калитки Русского сада на полдороге между Тиверией и Магдалой. Лай собак приветствовал нас. Хозяин Иван Гри-

горьевич вышел навстречу, узнал и заулыбался: "Пожалуйте, дорогие гости!"

Войдя во двор, мы оставили за собой современность и вступили в XIX век. Здесь ничего не изменилось за последние полвека. Русский сад — Ган руси — раскинулся на сорока пяти дунамах над озером. Он принадлежит Русской духовной миссии в Иерусалиме, которая могла бы выстроить здесь сказочный дворец — отель и собирать золотую жатву с американских туристов, но предпочитает оставить все в нетронутном виде. Иван Григорьевич арендует запущенный сад, в котором растут апельсины и грейпфруты, ставит в камышах над озером вентера на рыбу, сажает помидоры и всякие овощи. Работает он вместе с арабом из Назарета. Живет с семьей в маленькой хижине, сложенной из цельных камней с бетонным полом и низким деревянным потолком. Другой такой же домик в одну комнату стоит в саду для гостей. Электричество и водопровод не дошли сюда. В тесной комнатке, где в одном конце были наставлены примусы и посуда, на столе, накрытом клеенкой в цветах, стоял для нас ужин. Комнатка освещалась керосиновой лампочкой. Древняя бабушка в платочке засуетилась при нашем входе.

Три поколения русских жило в этом саду. Сама бабушка, кубанская казачка, в первый раз приехала сюда на богомолье в 1892 году. С тех пор не раз приезжала она из Новороссийска в Святую Землю, пока пятьдесят лет назад (накануне японской войны) не решила остаться совсем. Полвека минуло, и вот стоит перед нами худенькая восьмидесятилетняя старушка в платке и кофте, с лицом, как иконописный лик, с бледными, выцветшими скорбными глазами. Голос детский, воркующе-нежный и кроткий, и вся она, как свечка, теплится.

— Как же вы, бабушка, не боялись турок?

— Чего же бояться? Тогда русская держава сильная

была. Нам консул двух кавасов дал, верховых, в охрану. Дорог тогда никаких не было, ни железной, ни каменной. Кто на осликах, кто пешком. Как я молоденькая, так пешком везде ходила. Из Иерусалима в Назарет две недели шла.

— А мужа моего турки заморили. Вот как началась война в четырнадцатом году, так всех мужчин русских побрали и в Александрию выслали. Оттуда мало кто вернулся.

Иван Григорьевич — македонец, а жена его русская, Катя. У них трое детей. Маруся, четырнадцати, — в Назарете, в миссионерской школе. Младшая, Вера, дома, ходит в школу "Альянс" в Тиверии, чисто говорит по-русски, по-арабски и на иврите. А где же старший, Гриша? Тут Иван Григорьевич рассказывает чудесную историю.

Гриша, семнадцатилетний паренек, гордость семьи, милovidный, способный и очень набожный (хотели его дьяконом в Назарете сделать), познакомился случайно с американцем, по имени Фрэнк. Американец приехал на короткое время, но поддавшись очарованию Святой Земли, застрял надолго, поступил учителем при баптистской церкви в Назарете, стал ездить в Русский сад и называть Ивана Григорьевича отцом. Потом приехала к нему невеста, и они повенчались в Иерусалиме. Наконец он решил уехать, в августе пришел прощаться к Ивану Григорьевичу и попросил его согласия забрать Гришу в Америку.

— Я думал, что он шутит. Куда же ему в Америку, и денег на проезд нет. Но он мне сказал, что Гриша ему как брат родной, и на это воля Божья: они с Гришей неразлучны.

Через месяц пришли на имя оставшейся жены Фрэнка все нужные документы и деньги на дорогу: три тысячи долларов. Поехал Гриша и двое арабских юношей: Азиз и Гази.

В подтверждение Иван Григорьевич вытащил номер газеты "Джэксонвилл ньюз энд вьюз" за ноябрь, где не только была изложена вся эта история, но и помещена фотография Гриши, Гази и Азиза с их покровителем Фрэнком Кэрри. Фрэнк, молодой священник с прической ежиком и сияющей улыбкой на розовом лице, был изображен в окружении своих питомцев.

Семья еще не пришла в себя от этого происшествия. Иван Григорьевич показал мне письма к нему от Фрэнка и Гриши. Письмо Гриши на отличном английском языке извещало, что он учится в колледже, счастлив и благодарит Бога, но с Гази и Азизом не так хорошо. Поведение Азиза оставляет желать лучшего, а с Гази вышла неприятность. Он потребовал категорически, чтобы его отправили обратно в Назарет. Если станет там рассказывать дурное об Америке, то чтоб ему не верить, он просто лгунишка. И вообще — тут в письме, написанном по-английски, появилась русская вставка латинскими буквами — "arap astanita arap".

Вот так Гази! Я представлял себе этого мальчонку, который неудержимо затосковал в чинном баптистском колледже по воле, по родному дому в Назарете, представил себе и трепку, которую он получит дома от разочарованных родителей, — и мне стало смешно и немножко грустно. Какую единственную в жизни оказию пропустил Гази! "Арап астаница арап". Это верно, но вот останется ли Гриша русским в Северной Каролине?

В ту ночь я крепко спал под иконой в маленьком домике на берегу Галилейского озера, под благословением "Св. страстного монастыря Претория, от строителя и игумена архимандрита Серафима". В середине ночи проснулся: ливень гремел по крыше, но когда я вслушался в мерный и слишком ритмичный шум, то понял: это бушевало море. Недаром зовут Галилейское озеро морем. Волны били о берег с бешенством бури, и казалось, что предстоит дождливый, ненастный

день, как часто бывает в это время года в Израиле.

Но на утро не было и следа непогоды. В свете мягкого декабрьского солнца озеро плескалось мирно о берег, заросший плакучими эвкалиптами; пыльные кактусы смешивались с полузасохшими пальмами в старом саду, а в просвете деревьев, среди красных роз, темной зелени кипарисов и ясной желти бананов, проступала сквозь ветви акаций волшебная "голубень" озера.

Мы спустились вниз к самому берегу. Каменистое дно, понижаясь под прозрачной водой, пропадало метрах в десяти, а там, дальше, сине-зеленая даль ширилась, уходила за 10 километров к сирийскому берегу. Мы видели на израильской стороне рощи Магдалы, Гинносар, Капернаум и Такбу и далеко наискось рыбацкий кибуц Эйн-Гев. Под скалой маленький залив был отделен грядой камней от озера, и вода в нем из подземного источника была теплая, как в ванне. Пять круглых водоемов из черного базальта было в волшебном Русском саду над Галилейским озером, где, по преданию, Мария Магдалина окунала ноги в горячую воду и Саломея плясала пред Иродом во дворце, а теперь только автомобили и грузовики мчались по шоссе за оградой сада, и собаки Баян и Барбос виляли хвостами у ног Ивана Григорьевича.

1953 г.

ПРОТИВ ШЕСТОЙ СИКОМОРЫ

В течение тридцати лет, предшествовавших основанию еврейского государства, два противоположных течения, как тезис и антитезис, спорили в истории сионизма: мирный труд и вооруженная борьба. Тезис: по настоящему принадлежит мне только та земля, которую я обрабатываю; границы государства совпадают с границами созидательного труда. Антитезис: границы государства устанавливаются политической волей и гарантируются армией. Тезис: потом. Антитезис: кровью. В конце концов, еврейское государство было создано и потом, и кровью, оно — синтез всех усилий, объединение всех противоречий. Теперь ясно каждому, что без материальной базы, созданной конструктивным трудом трех поколений, вооруженной силе не на что было бы опереться; а без оружия, решимости и военного искусства молодых ни к чему не привели бы десятки лет упорного труда в Палестине, и закончились бы они катастрофой, как уже много раз было в истории еврейского народа.

Символом примирения двух крайностей было посещение 26 августа этого года президентом Ицхаком Бен-Цви Музея имени Жаботинского в Тель-Авиве. В этом музее, мало кому известном, не упомянутом в

путеводителях и почти обойденном правительственной пропагандой, сконцентрирован огромный материал, касающийся военной и мятежной истории сионистского движения. Музей занимает один этаж дома партии Херут, но значение его выходит за пределы партийных рамок. Основатель и директор музея д-р Иосиф Паамони (петроградец, хорошо знакомый с советскими тюрьмами и изоляторами) собрал в нем материал, связанный с историей сионистской борьбы за независимость, обработка которого потребует не одного поколения. Достаточно упомянуть, что среди рукописей музея находятся шесть тысяч листов неопубликованных писем В. Жаботинского.

Музей находится в центре города, на людной и шумной улице Кинг Джордж. Прямо против музея ряд из шести мощных столетних сикомор, памятник прошлого в асфальте мостовой, остаток рощи, уцелевшей благодаря вмешательству поэта Бялика четверть века назад. Возле последней, шестой, сикоморы вход в музей. Там в одно утро выстроилась группа бейтаровцев* в темно-синих мундирах в ожидании приезда главы государства.

Паамони взволнован: он впервые в жизни принимает в своем музее президента. На противоположном тротуаре толпятся любопытные, но полиция почти не видит: Бен-Цви не любит охраны. В последнюю минуту, когда черный лимузин, в сопровождении нескольких мотоциклов, медленно останавливается у шестой сикоморы, двое полицейских занимают пост у входных дверей. Толпа аплодирует. Все это я вижу и слышу, стоя на площадке внутренней лестницы. На ступенях ее по указанию полиции никого не должно быть.

* Бейтар — молодежная организация, основанная В. Жаботинским.

Все мы знаем Ицхака Бен-Цви. Еще до основания государства я беседовал с ним в Иерусалиме, когда мысль о его будущем избрании не приходила в голову ни ему, ни окружающим. Но тот Бен-Цви, который выходит из автомобиля — высокий старик, с волосами ежиком и усталым лицом (об этом типе еврейских лиц что-то написано Достоевским в "Преступлении и наказании") — совсем другой человек. Он — Народ, История, Государство. Если бы кто-нибудь в Котласском перпункте желдорлага сказал мне, что придет день, когда я пожму руку президенту еврейского государства! Я улыбаюсь.

Внутри анфилада комнат музея освещена полным светом. Искусственное электрическое освещение смешивается с лучами солнца, проникающими через зарешеченные окошки подвального этажа. Первое впечатление — храма, святыни. Катакомба, стены которой, расступаясь в дальнем конце, образуют зал, где море огней, ряды стульев, комитет встречи, официальные лица, журналисты.

Первое впечатление резко: под огромной каменной маской Жаботинского два ярко-красных пятна — две витрины с одеждой смертников. Эту красную одежду носил "террорист", повешенный англичанами в крепости Акко. Эти филактерии принадлежат Шломо бен-Йосефу, первому из двенадцати повешенных. Справа и слева ряды знамен. Некоторые из них прошли долгий путь: вот знамя краковского отдела Бейтара, служившее во время немецкой оккупации партизанским знаменем, закопанное в землю и по окончании войны привезенное в Израиль.

Бесконечными рядами тянутся витрины, шкафы, экспонаты, бюсты, картины. Одна дверь ведет в библиотеку, другая — в лабораторию микрофильмов для черно-белого и цветного печатания, для заливки документов предохранительной пленкой. Все — от частных

жертвователей. В нишах — диковинки: вот рога и тигровые шкуры из коллекции полковника Паттерсона, ирландца, командовавшего... батальоном Еврейского легиона в 1918 году. Паттерсон, великий ловец пред Богом, завещал музею все свои охотничьи трофеи. Вот радиопередатчик нелегальной станции Иргуна, которую годами разыскивали англичане... Вот самодельные пулеметы, гранаты и образцы всякого оружия, изготовленного в подпольных мастерских... Вот спасательные круги "Альталены", трагического корабля, привезшего в Израиль на три миллиона долларов оружия и расстрелянного, сожженного теми, кому он хотел помочь... Вот ниша Трумпельдора, его георгиевские кресты, заслуженные при обороне Порт-Артура, и письма по-русски, мелким, аккуратным почерком на бланке Первого сводного еврейского батальона в 1918 году... Вот волевое, с густыми черными бровями лицо Разиэля, предшественника М. Бегина на посту командира Иргуна, и прекрасное в своей мужественной молодости лицо Яира, убитого англичанами, основателя "Stern-gang"* , чей надгробный камень, дикий обломок скалы, один с немой вызовом повернут на кладбище в противоположную сторону, прочь от других надгробных памятников...

Сюда приходят гимназические классы с учителями. Приходят и те, кто по принципиальным или партийным соображениям всю жизнь противился "милитаризму" Жаботинского. Старому сионисту Ицхаку Бен-Цви понадобилось много лет, чтобы решиться переступить порог здания против шестой сикоморы на улице Кинг Джордж. Но зато сегодня его визит означает воздаяние государством почестей тем, кто пожертвовал для него жизнью.

*"Stern-gang" (англ.) — "Шайка Штерна", так англичане презрительно называли группу Штерна.

Был момент в этом **затянувшемся** на два часа осмотре, когда **натянутый внешний ритуал** ”официального посещения”, с чинной свитой, следовавшей по пятам, и церемониальным холодком речей дал трещину, переломился, и что-то изменилось в самом характере этой встречи. Это случилось в первые же минуты, когда президент и его супруга Рахель-Янаит Бен-Цви уселись за стол, и пред ними раскрыли первый экспонат: огромный рукописный фолиант ”Изкор” — траурный перечень погибших, по главам, по отдельным эпизодам войны, с миниатюрными фотографиями героев на полях каждой записи. Книга, столь тяжелая, что ее надо поднимать обеими руками, и каждая строчка в ней — отданная человеческая жизнь. Рахель-Янаит Бен-Цви, женщина с добрым и сердечным лицом матери, взглянула и вдруг задрожала и изменилась в лице. Любезная улыбка сползла прочь, и она порывисто поднялась с места. За ней встали и все присутствующие, еще не зная, в чем дело. Я знал, ибо не раз до того копался в этом фолианте. Сидя против нее, я ждал этой реакции, но она потрясла меня своей живостью и непосредственностью. Рахель-Янаит была застигнута врасплох, она не знала или не поняла, что в этой книге найдется и запись о ее покойном сыне. Единственный сын президента, командир отряда, шедшего на выручку осажденным товарищам, двадцати четырех лет, был убит 16 марта 1948 года. Доктор Паамони зарегистрировал, вписал, наклеил фотографию. Пальмах, Иргун, Лехи, Хагана — левые, правые, социалисты, националисты, с севера и юга, востока и запада, смерть всех равняет, все примиряет.

С этой минуты что-то тронулось, дрогнуло в сердцах собравшихся. Президент задержался в музее дольше, чем предполагал. Обходя отделы, он многое вспоминал, делал замечания не только как участник и современник событий, но и как историк (специ-

альность Бен-Цви — еврейские племена Востока).

В перерыве я был представлен президенту, и, к моему удовольствию, оказалось, что он читал "Путешествие в страну Зэка".

"Одна из немногих книг на русском языке, которую я прочел в последние годы. Она многое объясняет, многое выясняет", — сказал мне Бен-Цви. Доктор Паамони, который "на всякий случай" реквизирует вещественные доказательства моего пребывания в советском лагере, упомянул о проекте открыть при музее отдел лагерно-советский, наподобие "африканского" (лагерей Кении и Эритреи, где англичане продержали между 1944—48 годами несколько сот подозреваемых в принадлежности к террористическим организациям). Я, впрочем, не поручусь точно, что именно сказал д-р Паамони президенту, но уверен, что такой отдел рано или поздно при музее будет создан. Материалов для него в Израиле имеется вполне достаточно.

1954 г.

СОН О СВОБОДЕ

Начало 1955 года ознаменовалось для израильских граждан неприятным пробуждением от прекрасного сна о завоеванной независимости. Сон о свободе, о суверенности, сон о Родине и неоспоримом праве маленького народа на место под солнцем столкнулся с безобразной действительностью. Не ново, что границы Израиля не признаны ООН; не ново, что смертельные враги угрожают ему денно и ночью повторением гитлеровского погрома; не ново, что на рубежах страны непрерывно кипит партизанская война. Все это не ново, но на восьмом году существования Израиля выяснилось с особой рельефностью дополнительное обстоятельство — в наше время миф о самостоятельности маленьких государств надо окончательно сдать в архив.

Формально Израиль независим в той же мере, что и его соседи — Египет и другие арабские государства Ближнего Востока. Формально каждое государство, входящее в ООН, равноправно с другими и суверенно. Этой формальной независимостью не следует пренебрегать, она представляет огромное достижение, но исчезает, как ночная тень, в холодном и ясном свете мировой политики великих держав. Стоило московским политикам принять решение об отправке оружия на Ближ-

ний Восток, и закачалось все, что еще вчера казалось устойчивым и прочным. Из-за кулис кукольной независимости Иерусалима, Каира, Дамаска высунулась ироническая рожа Большого Брата, говоря языком Орвелла.

Как известно, независимость Израиля (как и всякого вообще невеликодержавного народа) никогда не бралась всерьез коммунистами. Для них все сионистское движение в целом было только негодной затеей еврейской буржуазии, британской агентурой, одной из ширм западного империализма. Вейцман — британский агент. Израиль — колония американского капитала. Национальное еврейское движение — историческая иллюзия, существующая в интересах настоящих хозяев мира. Был момент, когда даже советское правительство было готово его использовать. Это было тогда, когда "глупые" еврейские националисты с кулаками полезли на британского льва и заставили его отступить в 1948 году. Тогда Громыко в известной речи выразил одобрение Москвы и "признал" еврейское государство. Но с тех пор советское правительство разочаровалось в Израиле.

В последние месяцы переход Египта со скудного западного пайка на обильное советское снабжение наиболее усовершенствованными средствами ведения войны спутал все карты на Ближнем Востоке. Египет не стал независимее от того, что принял советский патронат. Но в Израиле началось отрезвление, когда западные державы продемонстрировали ему меру его зависимости от того, будут ли ему пожалованы Западом необходимые средства обороны.

Очень скоро нам это дали понять в самой унижительной форме. Уже многие месяцы не сходят со страниц израильской печати заголовки: "Эйзенхауэр обещал дать оружие", "Даллес отказывается категорически", "Аба Эвен просит", "Шарет увещевает и апелли-

рует”, ”Бен-Гурион не верит, что нас оставят без помощи” — ”Аба Эвен верит, что нас не оставят без помощи”, ”Города Израиля беззащитны перед атакой с воздуха”. Постыдная в глазах многих и горькая правда сегодня ясна всем: существование Израиля в дословном, физическом смысле слова является функцией политики Москвы, Вашингтона и Лондона. Эта политика управляется мотивами бесконечно далекими от идеалов национальной свободы и человеколюбия. Плетью обуха не перешибешь. Израильский патриотизм оскорблен, израильский национализм приведен к глубокому кризису.

До сих пор сионизм строился — вопреки советской теории о ”прислужниках британского или американского империализма” — на внутренней правде, на вере, на жертвенности, на готовности отдать жизнь для спасения народа. Сионизм вырос из отвращения к зависимому положению миллионных масс в диаспоре. В Палестине должна быть реализована настоящая независимость, опирающаяся на международное признание, на силу права и на силу отстоять свое право. Сионизм воспринимал советскую теорию о ”слугах международного капитализма” как клевету и наглое оскорбление. И в том он был прав. Но был ли он прав в своем восторженном апофеозе идеи национальной независимости?

Как следствие трагикомедии последних месяцев начинается в Израиле очень глубокий процесс, результаты которого скажутся не сразу.

Дадут или не дадут необходимое оружие? Позволят или не позволят приобрести самолеты, способные состязаться с теми, которые Москва поставила арабам?

В конце концов, вероятно, дадут и позволят. Вероятно, не дойдет до войны. Но унижительная и тягостная процедура выпрашивания помощи, с поясными поклонами, уговариванием и вымаливанием милости госде-

парламента не забудется. Очевидной стала шаткость и непрочность израильской независимости. Выяснилась нагая правда о том, что Израиль, как и соседние страны, является государством подопечным. Опекают его лучше или хуже, или совсем плохо — сам факт подопечного состояния должен быть признан и понят во всем своем значении.

Мы живем в эпоху нового, атомного империализма, во много раз усиливающего зависимость технически отсталых народов от воли сверхдержав. Низвержение колониализма, свертывание империй XIX века только заменяет одну форму зависимости другой. Независимость правительств, не обладающих достаточной мощностью, чтобы участвовать в мировой политике, сводится в наше время к тому, что они постановляют, под чьей опекой быть. Насер египетский принял предложение "помощи" со стороны Советского Союза, чтобы показать Западу, что у него есть альтернатива. Но судьба Египта по-прежнему целиком зависит от долготерпения Запада и от искусной игры Москвы, которая поставляет оружие, не требуя пока полной политической оплаты. Тот, кто отходит от одной из сторон в мировом конфликте, непременно будет втянут в орбиту другой.

Есть, конечно, разница между положением государства-сателлита в советской системе и подопечного государства в американской сфере. Чехословакия и Польша выполняют активные функции в коммунистическом блоке, их взаимосвязанность, обязанности и права в границах тоталитарной империи гораздо очевидней, чем в западных условиях. Сателлиты участвуют в общем наступлении коммунизма на мир. Подопечное государство Запада менее связано с мировой великодержавной политикой, но зато и гарантии его безопасности и внутренней устойчивости меньше. Подсоветская Польша не может пригласить к себе в гости

Даллеса, а Пакистан, несмотря на багдадский пакт, может пригласить Микояна. Даллес, если бы и поехал в Варшаву, ничего бы там не добился, а Микоян может в Карачи надеяться расшатать узы, соединяющие патронируемое государство Азии с его западными покровителями.

Подопечное государство в демократической системе способно развиваться в сторону свободной кооперации. В эпоху плана Маршалла Британия и Франция находились в подопечном состоянии, но с тех пор они в значительной мере вышли из него. Маленькое Государство Израиль находится в другом положении.

После победы 1948 года вино свободы ударило в головы израильским политикам. Прекрасный сон о свободе завладел их воображением. Им казалось, что они завоевали себе возможность распоряжаться своей судьбой, не вмешиваясь в чужие дела. Они хотели быть нейтральны или, по крайней мере, сохранить за собой свободу решения до последнего момента. В действительности Израиль с первого дня своей независимости представляет собой классический образец подопечного государства. Чтобы выйти из-под опеки Запада и заслужить милость Москвы, ему следовало бы отказаться от сионистской идеи, лежащей в основе государства. Это было невозможно. Израиль построен сионистами, притязаящими на концентрацию в нем миллионов евреев всего мира, в том числе миллионов евреев Советской России. Поколение, построившее это государство, не может перестать быть собой.

В настоящее время в результате исключительно бездушной, исключительно нечуткой, чтоб не сказать больше, политики западных держав, соединяющей резкость с нерешительностью, еврейскому государству грозит политический кризис. Не только разрушен израильский "сон о свободе". Не только подорван в сознании рядового человека престиж того правительства,

которое не сумело заставить себя уважать в Вашингтоне и Лондоне. Но сам принцип подопечного государства Запада взят под сомнение.

Это реальная опасность с национально-еврейской и демократической точки зрения. Если не будут приняты шаги для спасения престижа израильского правительства, если западные державы не сумеют найти решения арабо-еврейскому конфликту, то этим будет подорван и их престиж в Тель-Авиве и Иерусалиме. Неизбежна интервенция Москвы, проявляющей после смерти Сталина большую гибкость и оперативность на всех фронтах.

В настоящий момент просоветский сектор в Израиле (представляющий не более десяти—пятнадцати процентов населения) оперирует лозунгом: "Откажитесь от американской опеки, перестаньте обивать пороги в Вашингтоне, и Советский Союз вознаградит вас за это".

Перед нашими глазами пример маленькой Албании, которая под эгидой Советского Союза не опасается атаки ни с воздуха, ни с суши, ни с моря. В 1913 году, в эпоху принца Вида, Жаботинский писал о зависти, которую внушает ему "независимая Албания". С тех пор рассеялся миф о независимой Албании. Рассеялись и другие мифы. Все относительно. И "албанский статус" начинает казаться менее неприемлемым многим в Израиле, кто хочет мира и безопасности за любую цену.

1956 г.

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ИВРИТА

1

Бродя по улицам и площадям, останавливаясь на перекрестках, отдыхая в жаркий полдень на скамье городского сада, в автобусной давке, на базарах, в кафе и в магазинах слышал Левенберг в Тель-Авиве самую удивительную смесь языков и наречий, какую только можно было себе представить: английский с американским прононсом мешался с французским марокканского происхождения, немецкий — с идиш, староиспанское ладино — с болгарским. Славянские языки — русский, польский и чешский — переливались всеми оттенками диалектов, арабский гортанно звучал из уст восточных евреев, румынская речь журчала вперегонки с венгерской. Эти языки, как водопад, струились в живом говоре толпы, где были представлены иммигранты шестидесяти четырех стран. Но с течением времени и по мере того как ухо привыкало к этому невероятному фонетическому разнообразию, один язык подымался и вырастал над всеми — язык-хозяин, общий для всех, коренной, национальный, самый древний и самый новый язык — язык возрожденной страны.

Для иностранца не сразу ясно — насколько нов и необычен этот язык. Квадратные буквы, непонятная вяз надписей, вывесок и афиш — графически та же, что и в знакомых ему еврейских кварталах Бруклина или довоенной Варшавы. Могло казаться, не зная разницы между языком идиш Восточной Европы и языком Библии, что язык тель-авивских реклам — продолжение прошлого. И, однако, именно здесь самая ошеломляющая и революционная новизна Израиля: здесь звучит язык, похороненный многими, вычеркнутый из списка живых вместе с тем народом, который когда-то на нем говорил. Во всем мире родители передают свой язык детям, но здесь, где на одной улице и в одном доме встречаются выходцы из разных стран, родители учатся общему языку у детей. Для детей это язык школы и общих игр. Иврит — язык государственных учреждений, цемент, скрепляющий национальное единство. Иврит — дорога из прошлого в будущее. Его возрождение стало триумфом осуществленной утопии.

Неправильно говорить о воскрешении из мертвых языка Библии, — толковала Мирьям Левенберг. Не бывает чудес в наши прозаические времена. Если бы иврит был действительно мертвым или мумифицированным языком, как множество других древних и менее древних языков, то не было бы никакой возможности его воскресить. Тот факт, что язык ожил и принялся, как росток в плодородной почве, доказывает, что он никогда не умирал. Точнее сказать, он находился в подспудном состоянии, как уголь в золе костра, который всегда может быть раздут в пламя. Совершенно неправильно называть его древнееврейским, как будто современный иврит и язык Библии одно и то же. Язык, употребляемый в городах и кибуцах Израиля, не больше похож на язык Пятикнижия и Пророков, чем современный русский язык на язык Остромирова Евангелия. Между языком "Слова о полку Игореве"

и языком "Войны и мира" лежат семьсот лет непрерывного развития. Современный иврит имеет за собой не семьсот, а две с половиной тысячи лет истории. Его развитие не было равномерным, были в нем интервалы, провалы и затмения, веками продолжался летаргический сон, но в целом весь этот процесс — лучшее доказательство, что язык никогда не умирал. В той или иной форме он всегда был жив в народном сознании, и только потому и оказалось возможным вернуть его к нормальной жизни.

При возрождении иврита были применены искусственные средства, но это еще ничего не говорит против жизненности самого языка. Не забудем, что искусственность и намеренность в какой-то степени присущи развитию всех языков культурных народов. Английский, русский — любой язык цивилизованной нации в наше время не дикое растение, растущие без опеки, сами собой, а подлежат уходу и культивируются признанными авторитетами.

Но ни с одним из известных нам языков не произошло того, что с ивритом. Чтобы понять чудесную историю иврита, надо принять во внимание, что этот небогатый по количеству слов язык, так отставший от новых времен, должен был в кратчайший срок, в десятилетия, нагнать то, что в других языках создавалось, наслаивалось, накапливалось веками. Все словесное богатство современного иврита оценивается в каких-нибудь шестьдесят тысяч слов, втрое меньше, чем в русском или английском. Заложенный в его основание язык Библии насчитывает около одиннадцати с половиной тысяч слов. Шекспиру, чтобы написать его трагедии, понадобилось пятнадцать тысяч. Языком Библии нельзя не только выразить оттенков внутренней жизни среднего европейца, но и перевести посредственного романиста первой половины XX века. Новый быт требует новых слов.

Иврит сравнительно рано вышел из употребления у еврейского населения Палестины. В римские времена народ говорил на близком ивриту арамейском, а в образованных кругах — на греческом. Между вторым и пятым веками нашей эры были созданы циклопические труды — Вавилонский и Иерусалимский Талмуды, Гемара и Мишна.

В этот период словарь Библии пополнился тысячами новых слов и выражений из арамейских источников. Язык становился священным, знание его — религиозной обязанностью каждого еврея. Его в начале XX века называют лашон-кодеш — священный язык. Это язык ученых трактатов и богословской науки, ежедневной молитвы и поэзии.

Третья эпоха в истории иврита — средние века. Это — расцвет теологии и лирической поэзии с Иегудой Галеви, чьи элегии до сих пор не потеряли свежести, с Ибн-Гвиरोлем и Ибн-Эзрой, с новым обогащением средств выражения. На иврите тогда писали, но не употребляли его в обыденной жизни, как если бы он был слишком хорош для жизни в гетто, в изгнании. На нем переговариваются, но не говорят, обращаются на нем к Богу, а между собой употребляют, начиная с XIV—XV столетия, ту своеобразную смесь немецких, славянских и древнееврейских слов, которая получила название идиш.

Так доживает язык до четвертой эпохи — Просвещения (Гаскала). Эта новая эпоха, провозвестником которой был во второй половине XVIIII века Моисей Мендельсон, с ее общим уклоном в сторону светского образования, приносит новое оживление в области творчества на иврите. Язык секуляризируется. Возникают на нем периодические издания, журналы, посвященные критике и публицистике, наконец, романы. Авраам Мапу, житель Ковны, пишет первый роман на этом языке ("Любовь Сиона", 1855), Перец Смолен-

скин протестует против сухого утилитаризма первых просветителей и проповедует в журнале "Гашахар" ("Заря") возрождение иврита как первый этап национального возрождения. В этой досионистской эпохе не была еще ясна связь иврита с заселением Палестины и превращением ее в еврейское государство. Но уже родился культ языка как национальной ценности, и стремление расширить не только границы его применения, но и круг избранных, владеющих им в совершенстве. Писатели и поэты изымают иврит из-под компетенции учителей Закона и раввинов. Они не только куют язык как орудие светской и современной мысли, но и обращаются на нем к молодому поколению. Их потенциальной аудиторией является весь народ.

Иврит становится языком передовой еврейской интеллигенции во всех странах диаспоры, где существовала самобытная еврейская жизнь. Еврейское население Восточной Европы было сравнительно однородно, классовые и сословные различия не были так резко выражены, как у окружающих народов. Не было у евреев, с одной стороны, аристократов по рождению и духу, а с другой — "мужиков" и черни. Иврит, священный язык, никогда не был на положении латыни в католических странах, которую слушают по воскресеньям в храмах толпы верующих, не понимая ни слова. В силу особого характера еврейской религии, не знающей посредничества между Богом и людьми и требующей активного участия каждого в отдельности в богослужении, в широкой массе никогда не терялось интимное отношение к элементам языка: умение читать и молиться, а в свободное время — заглянуть в священный текст. В разговорной еврейской речи идиш содержится не менее десяти процентов слов древнееврейского происхождения. Если оценить минимум слов, которым можно обойтись в ежедневном быту, в одну, две тысячи, то можно считать, что этот минимум иврита

та уже заключается в разговорной еврейской речи. Этим, кстати, объясняется и та легкость, с которой говорящие на идиш иммигранты из Восточной Европы, приезжая в Израиль, осваивают иврит в течение нескольких месяцев.

Хорошее знание идиш вообще невозможно без знания лежащего в его основе иврита. Из трех великих классиков литературы на идиш — дедушка Менделе (вторая половина XIX века) писал свои произведения на идиш и на иврите. Последовавшие за ним И. Л. Перец и Шолом-Алейхем не только превосходно знали традиционный иврит, но и сумели в такой степени насытить им стиль своих рассказов (это в особенности относится к Перцу в его "Хасидских рассказах"), что их идиш весь просвечивается ивритом, как просвечиваются солнцем облака на заре. Спор велся о том, вечерняя ли это заря или рассвет нового дня, последние лучи уходящего солнца или пролог к возрождению национального языка. Пока велся этот спор между сторонниками языка идиш и иврита, модернизация языка сделала огромные успехи. Иегуда-Лев Гордон, поэт-просветитель, еще в семидесятых и восьмидесятых годах прошлого столетия писал стилем тяжелым и архаическим, хотя и полным силы (можно его сравнить в этом смысле с Державиным, предтечей золотого века русской поэзии). Но уже в восьмидесятых годах явился мастер, определивший стиль современной еврейской прозы, Ахад-Гаам, а с Х. Н. Бяликом и С. Черниковским — поэты национальные по духу и европейские по стилю и мастерству. С ними новоеврейская поэзия достигла зрелости, стала воспитательной и моральной силой в жизни нации.

Не им, однако, а другому поборнику иврита принадлежит заслуга решительного прорыва языка иврит в ежедневное употребление. Одного литературного расцвета было мало. Мало было знать, ценить, уважать и любить иврит. "Безумцем", одержимым идеей всеобщей ивритизации всей повседневной жизни, приступившим самолично к претворению утопии в действительность, был Элиэзер Бен-Иегуда (1858—1922), филолог и автор монументального "Словаря иврита", пять первых томов которого вышли при его жизни. Но не словарем прославился Бен-Иегуда. Имя его ежедневно повторяют тысячи людей, никогда в глаза не видавшие его словаря, ибо центральные улицы Иерусалима и Тель-Авива носят имя Элиэзера Бен-Иегуды. Он родился в литовской глуши, не был ни политиком, ни блестящим писателем. Он даже не был в партийном смысле сионистом. Он выступил задолго до Герцля и его политических планов. Программа колонизации Палестины и судьба миллионов евреев в Восточной Европе непосредственно его не интересовали. Идея Элиэзера Бен-Иегуды заключалась в том, что еврей в стране Израиля должен говорить на иврите, ибо это единственный язык, на котором он может и должен построить свое национальное существование.

Прибыв в Иерусалим в начале восьмидесятых годов, молодой человек двадцати пяти лет не побоялся прослыть чудаком и привел в исполнение свою мысль, которая вызывала злые насмешки одних и яростное негодование других. В один прекрасный день Элиэзер Бен-Иегуда, скромный учитель в школе общества "Альянс", перестал разговаривать на другом языке, кроме

иврита. Он и жену свою заставил говорить только на этом языке. Трудности были огромные. Не хватало самых обыкновенных слов для обозначения обыкновенных предметов, не существовавших в обиходе во времена Библии и Талмуда. Надо было не только создавать новые слова, но и заставить себя слушать и быть понятым. Элизер Бен-Иегуда вызвал против себя ярость старозаветных евреев, обвинивших его в профанации святыни. Употреблять святой язык при покупке керосина в лавочке или за игрой в карты было неслыханным неуважением к традиции. Над Бен-Иегудой издевались, дразнили его, считали ненормальным. Упрекали его в том, что он совершает преступление против своих детей, заставляя их с колыбели говорить на языке, на котором никто не говорит: что могло вырасти из таких детей, кроме идиотов? Бен-Иегуда был глух ко всем доводам. Людям, которые обращались к нему не на иврите, он просто не отвечал.

Постепенно образовалась вокруг него группа последователей. Он начал издавать газету, где иврит служил нё целям возвышенным и литературным, а для простой информации о текущих событиях. Он основал движение и показал пример. Бен-Иегуда создал первую в истории нового времени "гебраическую" семью, где забытый язык звучал в устах детей и был так свеж, как весенние полевые цветы. Сын его, Итамар Бен-Ави, не только не пострадал от упорства отца, но вырос известным и талантливым писателем.

Все это выглядело вначале как демонстрация, спорт, игра. Говорили с напряжением, говорили из принципа. Но новые и могущественные силы пришли на помощь обновителю национального языка. Сионистское движение апеллировало к многоязычной массе, и для этой массы, для тысяч, потом для десятков и сотен тысяч прибывавших в страну иврит не был ни спортом, ни забавой, а насущной необходимостью: единственным

языком, который мог ее спаять и вернуть ей чувство национальной общности.

Иврит становится языком трудовой Палестины. На первых сионистских конгрессах еще преобладала немецкая речь. Язык преподавания в первых школах в Палестине был французский. Но уже в 1901 году Пятый сионистский конгресс в Базеле провозгласил возрождение иврита одной из целей мирового сионистского движения. Первая мировая конференция друзей иврита собралась в 1906 году, родился Брит иврит оламит — Международная организация ревнителей иврита. Культурная революция еврейского народа расширяется, захватывая все новые области, питаясь из тысячи источников. В начале столетия сионизм стал проникать в широкие круги ассимилированной интеллигенции в России и Центральной Европе, и молодежь, говорившая по-русски и по-немецки, стала искать дорогу возвращения к своему народу. Тогда появились у иврита новые энтузиасты: оторванные от традиций, ничего не знающие о тысячелетнем наследии еврейской культуры, они открывали этот язык, как Колумб — Америку, и в очаровании стояли перед открывшейся им перспективой, перед неисчерпаемыми сокровищами еврейских преданий и возможностями будущего развития.

К числу таких "Колумбов", начинающих изучение иврита с азов в зрелом возрасте, относился и Владимир Жаботинский, один из самых горячих проповедников этого языка. Между первой и второй мировыми войнами возникла в странах Восточной Европы школьная сеть на иврите (организация "Тарбут"). Халуцианское движение двадцатых годов включило иврит в программу подготовки к трудовой жизни в Палестине. Тысячи молодых людей, прибывая в страну, переходили на язык, который еще недавно назывался древнееврейским, но у них он был самым новым из языков, на котором когда-либо говорили евреи. Началась героиче-

ская эпоха в развитии иврита, эпоха бурного словотворчества. В Иерусалиме создали Ваад алашон — Языковую комиссию, в компетенцию которой входило установление обязывающего канона, подбор тысяч новых терминов и слов для нужд быта и специальных наук. Радость творчества выражалась не только в закладке городов и деревень, не только в освоении земель и новых профессий, не только в физическом труде, но и в весеннем разливе еврейского слова, напоминавшем половодье. Иврит ломает тысячелетний лед, разливается по стране потоком и с каждым годом звучит все естественнее и богаче. За первую половину XX века не менее пятнадцати тысяч новых слов влилось в сокровищницу языка.

Если подсчитать число новых слов в таком языке, как русский, пополнявшем свой словарь в течение двух с половиной столетий со времени Петра обозначениями всех приобретений технической цивилизации и утонченной культуры Запада, то оно, вероятно, будет не меньше. Но в русском языке весь этот процесс не только занял больше времени, не только опирался на прочные основы московской государственности и культуры, но был до крайности облегчен механическим переносом иностранных слов вместе с иностранными понятиями. Слова вроде "энергия", "электричество", "элемент", "инженер", "министр", "мораль", "этика" и тысячи других представляют легкую руссификацию готовых терминов, общих всем европейским языкам. Эта дорога для иврита закрыта. Если верно, что язык есть зеркало души народа, то в развитии новоеврейского проявилась исключительная духовная самостоятельность и отталкивание от готового. Иностранные слова, включая примесь местных арабских, составили небольшую часть нововведений. В целом проявилась огромная изобретательность в применении корней библейской и талмудической эпох. В новом ив-

рите ожили, казалось бы, давно забытые слова, и подтвердился принцип, что мертвых слов нет, пока жив народ, и сохранилось в нем чутье, с инстинктивной уверенностью опознающее в новинках старое народное добро.

3

Итак, восторжествовал лозунг: ”Единый народ — единый язык”, и в жизнь вступили поколения, для которых иврит — их родной, от колыбели родной и единственный язык. Вообще не было поколения в еврейской истории, когда бы иврит не звучал в устах взрослых и просвещенных, но решающий перелом совершился в десятилетие, когда дети, не знающие другого языка, начали щебетать на нем со всей непринужденностью. После первой мировой войны иврит стал одним из трех официальных языков мандатной Палестины. В частной жизни каждый может объясняться как угодно, но в общественных учреждениях, в печати и особенно в школе — ревниво охраняется нераздельное господство иврита. Школа на иврите — гарантирует будущее народа. Сабры или цабарим — так называют молодых людей, рожденных в стране, первое свободное поколение евреев, не знающих антисемитизма, без комплексов и приниженности. Цабарим — плоды кактуса, колючие и жесткие снаружи, сладкие внутри. С появлением цабарим центр еврейской национальной жизни переносится в Израиль. Крепость иврита и залог национального воспитания — школа.

В десятую годовщину независимости двадцать тысяч учителей преподают в Израиле, а число учащихся в детских садах, начальных, средних и специальных школах составляет полмиллиона. Иврит — новоеврейский язык, живет и занимает свое место среди национальных языков мира. Число говорящих на нем в Израиле

и во всем мире растет с каждым годом. Можно услышать иврит на парижских бульварах, в портах Средиземного моря, в Нью-Йорке и в еврейских гимназиях всего мира. Иврит подавлен и приведен к вынужденному молчанию только в тех странах, где евреи подвергаются насильственной ассимиляции.

От литературных языков других народов, таких, как русский или немецкий, иврит отличается тем, что не имеет региональных диалектов. Здесь мы имеем единственное в своем роде явление языка, выкованного элитой и привитого массе, в которой он имел исторические корни.

С ивритом — как с лесом в Израиле: леса насаждают рукой человека по плану, но в конце концов эти леса вырастают, привлекают птиц и животных, дают глубокую тень и становятся настоящими лесами. Так и иврит в кратчайший срок стал полноценным живым языком живого народа, где эволюция совершается взаимодействием двух противоположно направленных движений: от центра духовной элиты нации в народную гущу, и от народных масс к элите. Необъяснимо, почему из разных слов, предложенных для обозначения одного и того же предмета или явления, одно вошло в употребление, а другие отпали. Необъяснимо, почему некоторые слова и обороты проникают в живую речь, несмотря на неодобрение ученых критиков и пуристов. Не подлежит сомнению только одно: Израиль говорит на своем языке, органически выросшем из глубины национальной традиции, объединяющем все его разрозненные и разъединенные в пространстве и времени племена и поколения.

Надо отметить и смену имен, происходящую в Израиле. Не только исчезают славянские и немецкие фамилии, уступая место чисто еврейским (Грин становится Бен-Гурионом, Черток — Шаретом, Грозовский — Гуром, Немировский — Намиром). Исчезают и типич-

ные для былой черты оседлости имена, вроде Шейндл, Этл, Фейгл, Берл, заменяясь новыми именами: Илана, Авива, Ора, Игал. Герой юмористического рассказа Шолом-Алейхема Фараон Петрович не стыдится в Израиле называться исконно еврейским именем Арие или Цви.

1953 г.

НАД МЕРТВЫМ МОРЕМ

Не знаю, кто первый выдумал назвать его мертвым. Евреи никогда его так не называли. Мертвое море не более мертво, чем Черное черно, а Белое бело. Ям амелах значит Море соли или Соленое море.

В расщелине, сдавленной горными хребтами, сохранился остаток моря, некогда, миллионы лет назад, покрывавшего всю эту страну. Море схлынуло, оставив во впадине более тысячи квадратных километров соленой воды. Впадина — самая глубокая на земном шаре: четыреста метров ниже уровня Средиземного моря. Вода — самая соленая и насыщенная из всех морских вод: раствор солей и минералов доходит до двадцати пяти процентов вместо обычных пяти. В такой воде и люди не тонут, и рыбы не живут, и растения чахнут. Нет органической жизни в этой соленой купели, оттого и прозвали ее Мертвым морем. Но отсутствие жизни еще не смерть, и Ям амелах блестит, как жемчуг в короне Израиля.

Оставим метафоры поэтам. Пяти минут не прошло, как наш автобус, набитый экскурсантами до отказа, отъехав от старого Эйн-Геди, застрял в болоте. Не везло нам. Удушливый зной тяжело нависал над полем; в километре от нашей дороги тянулась скалистая гро-

мада Иудейских гор, слева мерцало Соленое (Мертвое) море. Тишина. Раскаленная сушь песков и камня, где за целый год не выпадет и трех сантиметров осадков. А мы сидим в болоте.

Происходило это в самом отдаленном, за горами и долами, углу Израиля, пятьдесят километров за Содомом. Откуда здесь вообще взялось болото?

Напрудила его мамтейра — так называют здесь искусственное орошение полей. Фонтаны круговым движением поливали дорогу в ста метрах от нас. Колеса автобуса завязли в гуще, вязкой, как гуммиарабик. Ни туда ни сюда.

— Выходи, ребята.

Кругом был боц, то есть грязь по щиколотку. Кто-то выпрыгнул и положил камни, по которым пассажиры — мужчины и женщины, балансируя, переправились на край поля.

Тяжелая машина Джи-Эм-Си второй день была в пути. Запылилась и устала не меньше едущих в ней. Ави принялся яростно трубить, но никто не отозвался на рык сирены. Вдали удалялся второй автобус нашей компании и скоро исчез из виду. Мы остались одни.

Разгорелась ожесточенная дискуссия. Ави, наш шофер и руководитель, не принял в ней участия. Выскочив, он умчался за помощью в кибуц. Далеко в поле, под навесом от солнца, по пояс голые кибуцники Эйн-Геди грузили на платформу ящики с помидорами. К ним он и направился, лавируя между струями и брызгами. Тем временем наши парни раздобыли доски, собрали с поля старые мешки, положили под колеса. Мотор заработал, автобус два раза дрогнул, но не тронулся с места.

— Разувайся, братва!

— Хевре, лифшот эт наалаим!

И не дожидаясь, чтобы кто-нибудь последовал его

приглашению, немедленно сам разулся и с отчаянным видом замахал руками.

— Сию минуту! Все разом! Эй, навались! Ну, живо, чего стоите!

— Не вытянем! — сказала братва. — Ты чего раскричался? За что деньги платили? Автобус должен нас везти, а не мы автобус.

— Я сам шофер! — горячился маленький пассажир. — Я двадцать пять лет шофер! Я знаю дело! Вот сейчас надо вытянуть, иначе осядет вконец! Нас тут полсотни едет, неужто не вытащим?

Но никому не хотелось лезть в грязь. Все находились в том состоянии изнеможения, которое следует за двумя долгими днями пути с непрерывным лазанием по горам, когда ноги распухли, тело ноет и думаешь только о том, чтобы попасть домой на отдых. До Тель-Авива было еще часов семь пути.

Хорошо было растянуться под кустами при дороге и ни о чем не думать. Воинственный "я сам шофер" посмотрел кругом, махнул рукой и улегся тоже.

Парни присоединились к девушкам, с которыми завели флирт с вечера.

— Можем так и полдня простоять... пока подсохнет, — заметил тель-авивский старожил соседу в фетровой шляпе, которую в это время носят только туристы в Израиле.

Турист смотрел во все глаза.

— Откуда взялась эта зелень? Это ведь мираж в пустыне!

Как фата-моргана лежали зеленые поля Эйн-Геди. Между морем и горной стеной протянулся бархатный изумрудный ковер в полкилометра длиной. Высоко на холме стояли дома нового Эйн-Геди, новенькие, как только что купленные детские игрушки. Въезд туда был закрыт, но в старом Эйн-Геди, оазисе библейских времен, вблизи которого в одной из пещер прятался

от Саула молодой Давид, еще текли в лесной прохладе горные ручьи.

— Вот вам и сионистская революция, — сказал, полусмеясь, старожил. — В болото въехали! А знаете ли вы, сколько каторжного труда потребовалось, чтобы здесь лег этот зеленый ковер и в сорокаградусный жар водой залило дорогу? Это не с неба накапало, это сделали человеческие руки! Здесь восемнадцать веков ничего не росло!

Пассажиры пошли за водой — с бутылками и фляжками, а самый предприимчивый куда-то сбегал и вернулся, таща на плече деревянный ящик с помидорами.

— За сорок купил, а в Тель-Авиве на базаре восемьдесят!

В Эйн-Геди, где климат, как в печи, овощи поспевают на месяц раньше, чем во всей стране. Вереница пассажиров потянулась к навесу в поле.

— Пойдем и мы, — сказал старожил туристу. — Это вам не лавочка: никто и не подумает предлагать на продажу, но если попросить, уступят ящик. Только кому охота таскать десять кило? Посидим в тени.

Под навесом пыхтел трактор, и Ави договаривался с кибуцником. Тот не торопился: по такой жаре не побежишь. Флегматичный, большой и русский, в рубахе и коротких портках, в синей панамке лукошком (тембель) он напоминал мужика-белоруса. Кибуцники грузили ящики, не глядя на городских, словно их не было.

— По-разному можно понимать, что такое революция. Для меня сожженный солнцем голоногий мужик из Эйн-Геди и есть еврейская революция. Говорят о промышленной революции в Англии или технической революции в наше время. Еще говорят, что революция — это кровь, обвал, разрушение. Что ж, разрушений и крови в нашей жизни было достаточно.

— Те, что стояли и стоят на пути этих голоногих, —

настоящая контрреволюция. Помните памятник на дороге сюда?

Прорезая в 1953 году скалы, пробили дорогу, первую от сотворения мира, ведущую к безжизненному побережью Содома. Двое инженеров строителей были убиты из засады. Памятник стоит на месте убийства, где в просвете скал открывается с высоты тысячи двухсот метров, как с облаков, вид на южный берег Мертвого моря. Дух захватывает от этой панорамы. Но убийцам было не до нее. Они пришли, подкрались из-за границы.

В разных антиизраильских брошюрках можно прочесть, что федаин — это, мол, сионистская выдумка для отвода глаз. Сюда бы привести авторов, ткнуть носом в кровавые следы на каждом шагу. Пусть бы рассмотрели, кто здесь несет жизнь, а кто смерть.

Трактор, наконец, управился с работой, пыхтя повернул кругом и поехал на выручку. Пассажиры столпились, наблюдая, как натянулась и дрогнула цепь. Тракторист рванул раза два: автобус нехотя стал вылезать из болота. Пока пассажиры рассаживались, Ави расплатился с кибуцником, пожали дружески руки, и автобус запрыгал на неровной дороге.

— Через год обещают асфальтированную дорогу, — сказал Ави и в третий раз повторил остроуту, основанную на том, что на иврите "дерех мезупат" означает и дорогу, залитую гудроном, и дорогу такую, что и сказать неприлично.

— Будет, будет здесь автострада, не беспокойтесь! На то и страдаем.

Автобус шел вдоль водной равнины, по ту сторону за семнадцать километров стояли в лиловой дымке дикие горные хребты, вырастая один за другим, один над другим. Горы Моава сменялись Эдомскими, далеко маячила вершина Нево. Нево — гора в Иордании, с

которой Моисей смотрел на эту землю перед смертью. Скалы, молчание, пустыня.

— Смотрите и учитесь! — сказал шофер Ави, — сравните два берега. На их стороне побережье пустынно и глухо, ни следа человеческого жилья. Вот оно где — их Мертвое море! Мертво и неподвижно тысячи лет. Только четверть моря в наших руках, учились бы у нас. Мы построили заводы, добываем поташ сотнями тысяч тонн, бром тысячами. А соли здесь горы, этого добра на века хватит. Серой тянет, чувствуете? Тут серные источники лучше, чем в Тиверии, сюда президент приезжал купаться. А дальше Орон, там фосфаты добывают. Тронулась жизнь, не остановит ее. Построен новый город Димона, там живут заводские рабочие. Здесь стоят дома отдыха, дома молодежи у пещеры Лота, что на триста метров идет в глубь горы, у Масады. А туристов сюда сколько возим! Толпами!

— Все хорошо, — сказал турист, подразнивая Ави, — а зачем на Египет напали?

Ави развел руками.

— Господин хороший! Прикиньте умом: мы в трехстах пятидесяти километрах от Каира, а они под Тель-Авивом, на чужой земле уже двенадцать лет! А мы — "на них напали"! Скажите еще: "Израиль — база империализма". Видали империалиста в портках? Почему не нашлось "радетелей" на тот же поташ и бром в их Мертвом море? Земля та же, богатства те же, а все мертво. Видно, не в деньгах дело.

— А в чем дело, Ави?

— Все зависит от того, как смотреть. Для них здесь Содом, Содом — грех содомский. Одна нечисть. На что ни посмотрят — все оплюют. На базаре полно яблок, а они дохлых кошек ищут. А ведь "Сдом" — это сокращение "Сде-Адом", по-нашему, на иврите — "Красное поле". Красны тут минерально-соляные почвы. Красно-полье. Родина. Эту землю, кроме нас, никому не под-

нять. Были здесь разные мудрецы и решили — земля бесплодна, море мертво. Эту землю любить надо.

— Вот, смотрите, Масада!

Автобус шел мимо последнего отрога Иудейских гор. Скала стояла грозно, отвесно, со всех сторон отделенная пропастями. Масада — символ и памятник.

Ионатан, младший брат Иегуды Маккавея, впервые укрепил Масаду за полтора века до нашей эры.

Веком позже Ирод Великий превратил Масаду в свое орлиное гнездо.

В 1955 году раскопали дворец Ирода, описанный Иосифом Флавием в "Иудейской войне": полукруглые террасы висят над пропастью, девять зал, мозаика, коринфские капители.

Эти террасы с дороги можно различить, едучи мимо.

Ирод обнес плато Масады крепостной стеной с 37 башнями, заложил в ней арсенал, заготовил продовольствие на годы, обеспечил водой.

Здесь, после разрушения Иерусалима, три года держался против целой римской армии Элеазар бен Яир.

"Змеиная тропа", описанная Иосифом Флавием, ведет на верх горы. С высоты ясно различимы следы девяти римских лагерей: каждый в ограде, как малый городок, с казармами, банями, складами.

Римский генерал Флавий Сильва построил вокруг Масады стену трехметровой высоты, чтобы никто не вырвался из кольца.

Стена видна по сей день — чудо инженерного искусства тех времен.

Потом засыпал пропасть с западной стороны, возвел осадную башню, подвел таран.

Откуда брали воду для армии? Ее возили за семнадцать километров из Эйн-Геди покоренные иудеи, над-

рываясь, как в годы второй мировой войны остарбайтер* для нужд другой армии.

Когда же пришло время, и римляне пробили стену, Элеазар собрал своих людей и держал перед ними речь:

— Давно решили мы не служить ни римлянам, ни кому другому, кроме Бога нашего, не соглашались на рабство, даже когда оно не угрожало нам гибелью, тем более теперь. Умрем же, как свободные и гордые люди, и за дела наши дадим ответ Богу, а не римлянам. Не предадим жен наших на бесчестие, и дети наши не познают рабства...

Когда утром следующего дня легионеры ворвались в пролом, их встретило безмолвие. Масада горела. Из укрытия вышли две женщины с пятью детьми — единственные, кто уцелел, и рассказали, что произошло ночью.

Десять человек, выбранных по жребию, умертвили мечами остальных, числом 930, потом один из десяти убил своих товарищей и покончил с собой.

Масада повторялась в еврейской истории не раз. Дух Элеазара жив в его потомках. В течение минуты, пока автобус огибал скалу над морем, все глаза были прикованы к ней. Потом автобус свернул за поворот дороги, и далеко-далеко в сумерках загорелись теплые огоньки у подножия гор, где люди упрямо продолжают легенду тысячелетий.

1960 г.

ПО ГОРАМ, ПО ДОЛАМ

В нескольких шагах от шоссеной дороги пастух гнал стадо черных овец. Овцы налезали одна на другую, теснились в придорожной пыли, текли, как разли-

* Остарбайтер (нем.) — восточные рабочие. Так немцы в годы гитлеровской оккупации называли рабсилу из СССР и Восточной Европы.

тая тушь. Подальше трусил на ослике босоногий мальчишка, весело поблескивая на нас озорными глазами. Между нами и им небольшие пирамидки белых камней — пограничный знак. По ту сторону начинался Ливан. Мы стояли группой человек в двадцать на самой границе.

Мы были на крайнем севере Израиля. Ливанская граница длиной семьдесят восемь километров, самая спокойная и мирная, без особых инцидентов вот уже двенадцать лет. По дороге нагнал нас военный патруль в джипе — шестеро пограничников в зеленых беретах. Мы вышли из машин, стали на плато, осматривая окрестность. Дамы наши немедленно воспользовались удобным случаем сфотографироваться с пограничниками, принявшими картинные позы, с автоматами наперевес. Это не было со стороны наших спутниц простым женским кокетством: одна представляла лондонский иллюстрированный журнал, другая — скандинавскую прессу.

Далеко, в десятках километров от нас, было море. Оно подымалось к небу и растворялось в его бездонной лазури. Вглядевшись, можно было на краю горизонта различить узкий белый мыс, врезавшийся в синеву: это был Цор, в древности Тир финикийский, ныне бедное местечко. Чужое — ливанское. Пастух равнодушно брел мимо, по ту сторону границы, не оглядываясь на автоматы наших пограничников. Он знал: опасности нет. Вот если бы было наоборот, и мы, проезжая, наткнулись на дула арабских автоматов в пяти метрах за белым пограничным столбиком, вряд ли бы мы остались спокойными.

В Израиле от крайнего севера до юга всего километров четыреста, но не даром Израиль — это страна контрастов. Средиземное море нежно голубеет, дышит прохладой, лицом оно обращено к Европе, Греции, Италии. Красное море, темно-синее, пышет зноем и обра-

щено к Африке, Индийскому океану. На севере, на ливанской границе, зеленеют холмы, виноград в долинах, кипарисы на высотах. На юге, на границе с Египтом — пустыня и суховеи, и в Эйлате всегда на пять или десять градусов теплее, чем здесь, на севере страны, хотя и нам сегодня не легко: 27 октября, а температура в полдень — тридцать шесть градусов жары по Цельсию.

В ДОРОГЕ

Накануне мы выехали из Тель-Авива в сумерки. Мы мчались по Саронской долине мимо россыпей огней справа и слева. Теплая ночь, небо вызвездило, стремительный ход и, как всегда, когда летишь в озаренный ночной простор, чувство бодрого одиночества. Мы проехали Хайфу. Еще долго, оглянувшись назад, можно было видеть вдаль фантастическую декорацию огней Кармеля. Глубже, все глубже в ночь. И выше, все выше в горы Галилеи. В десятом часу мы прибыли в Цфат — один из святых городов еврейской традиции, наряду с Иерусалимом и Хевроном. В XVI веке Цфат был духовной столицей евреев; здесь создавалась каббала, здесь Йосеф Каро писал свой "Шулхан арух", здесь показывают туристам молельню "божественного" Ари, здесь жили Виталь и Кордоверо, и Шломо Алькабец сочинил свой гимн на сретение субботы, вошедший в литургию. В XX веке напрасно искать в Цфате мудрецов и поэтов, но он стал благодаря своей живописности излюбленным городом художников, которым предоставлен специальный квартал для жилья и ателье. В столовой гостиницы "Герцлия", где нас уже ждали накрытые к ужину столы, все стены украшены,

увешаны полотнами израильских художников. Они, по-видимому, оплачивают картинами свои счета в "Герцлии"...

ПО ЛЕСАМ ИЗРАИЛЯ

Ранним утром — побудка. Телефон трещит над ухом, и, живо собравшись, позавтракав, мы отправились в объезд лесонасаждений. Для этой цели и собрал нас Керен-Каемет — Национальный фонд Израиля.

Основанный в 1903 году Фонд представляет собой важнейшее орудие освоения и облесения земель. В независимом Израиле земли Фонда, приобретенные в свое время в национальную собственность еврейского народа, объединены с правительственными землями под управлением совместной коллегии из представителей Национального фонда и правительства. Это более девяноста процентов всей площади страны. Земли эти не могут быть проданы в частную собственность, а только предоставляются в трудовое пользование сроком на девяносто девять лет. На землях Национального фонда построено шестьсот тридцать селений, и с 1948 года посажено сорок восемь миллионов деревьев. Со временем эти леса изменят климат страны. Нам предстоит побывать в одном из новых лесов — в Бирии.

Кто помнит "В лесах" Мельникова-Печерского, разочаруется. Не одно поколение пройдет, пока вырастут здесь непроходимые чащи и лес зашумит, упираясь вершинами в небо. Израильские леса не шумят, они только прорастают. Мы проехали пять километров по лесной дороге будущего. Крутом, по скатам круглых хол-

мов, под нами, над нами, двух-трехлетний младенческий лес зеленел, как ковер, разливался волнами, курчавился по террасам и ступеням правильными линиями посадки, ритмически и однообразно, но уже закрывая тысячелетнюю наготу этих мест.

Подъем привел нас к деревянной вышке, сложенной из цельных узловатых бревен и камней. Здесь один из одиннадцати дозорных пунктов Фонда для предупреждения лесных пожаров, этой постоянной опасности знойного израильского лета. Здесь ждали нас люди из районного Управления северных лесов: группа из четырех человек, не молодых и не старых, из тех, кто стал ныне настоящими строителями, обновителями страны; люди — как деревья, выросшие из почвы и сами ставшие частью ландшафта, душой леса.

Мы поднялись на вышку. Вид захватывающий: на долину Хулы — дно бывшего озера, на камни гор, на мозаику серых, коричневых, бурых земель. И тишина. На горизонте кибуцы Эйн-Зейтим и Довев, дальше Аелет—Гашахар, Хулата, Сде-Элиэзер...

— Вот тот лесок, — говорит, улыбаясь, гид, — лес Жильбера.

Пьер Этьен Жильбер, первый французский посол в Израиле, всех пленивший, между прочим, и тем, что отлично овладел ивритом, оставил о себе добрую память: не только улицу своего имени в Рамат—Гане, но и этот лесок, посаженный добрыми друзьями в его честь в Верхней Галилее, в лесу Бирия.

Впервые я видел озеро и болота Хулы в 1936 году. Деревня Иесуд-Гамаала стояла тогда на самом берегу озера. Тогда, где-то в стороне, на пригорке, стоял домик, обитатели которого, вихрастые техники-чертежники, говорили между собой по-русски, а на малярийной станции д-ра Майера (ныне покойного) слышалась только немецкая речь. В болотной трясине торчали черные морды залегших в ней буйволов.

И вот, двадцать четыре года спустя: никаких следов ни малярии, ни комаров, ни сердитых молодых людей, ни русской или немецкой речи, ни Хулы. Озеро исчезло начисто, и вместо него простираются зеленая равнина, поля, пересеченные дорогой.

Деревня Иесуд-Гамаала вся в яблочных, фруктовых садах. Здесь шестьдесят квадратных километров было под водой, еще 65 — гнилые болота. Работы велись с марта 1951 года. В первой стадии было углублено и расширено русло Иордана к югу от озера, чтобы дать выход стоячей воде. Проложено три канала для отвода зимней дождевой воды; главный из них заменил первоначальное русло Иордана в водах Хулы. Оставлен только заповедник на четырех квадратных километрах для туристов и любителей природы, чтобы сохранить хоть клочок старого озера Хулы с его флорой и фауной.

Мы объехали заповедник на двух моторных лодках-плоскодонках. Двигались в высоких, в рост человека, тростниках и папирусовых зарослях, распугивая стаи птиц. Здесь их царство. Мутно-зеленая вода и чаща укропообразных, раскидистых растений, стеной стоящих с двух сторон водных проходов, создают впечатление нильских зарослей. Казалось, сейчас выплывет из них крокодил или сойдет к берегу дочь фараона с прислужницами и обнаружит в тростниках корзинку с младенцем Моисеем. Парило нестерпимо. В заповеднике кишели дикие утки, водились пеликаны, норки, вепри... Ловить рыбу запрещено, чтобы не остались без пищи водяные птицы: один пеликан за день склюет четыре кило рыбы. За стеной тростников нам показали затон, куда въезд закрыт: там птичье урочище, на воду были брошены плоты, на которых пернатые отдыхают и кладут яйца.

ИОДФАТ (ИОТАПАТА)

Последним этапом была Иотапата — та самая, в сердце центральной Галилеи, где Иосиф Флавий был осажден римлянами в 66 году. Из всех защитников он один остался в живых и сдался победителю. Теперь спорят историки, был ли он изменником или мудрейшим из патриотов, но неоспоримо, что Иотапата благодаря ему снискала бессмертие. Осенью 1960 года Иотапата — на иврите Иодфат — ожила.

Во втором часу дня, усталые, запыленные, голодные, мы наконец добрались до Иодфата и, когда въехали в ограду крепости на вершине холма, увидели поджидавший нас удобный тель-авивский автобус — предвестие возвращения.

Крепостью, конечно, можно назвать Иодфат только условно... Нет там ни войска, ни оружия; за стеной — распаханная земля, рядом долина, где строится местечко Иодфат. В самом Иодфате находится группа молодежи. Все они горожане, окончили среднюю школу в Хайфе и сообща решили создать новый пункт на карте Израиля. Их задание: провести подготовительные работы и позже стать инструкторами новых иммигрантов, которые заселят будущий Иодфат.

Арабы центральной Галилеи не послушались призыва их вождей в 1948 году и не оставили Палестину, хотя им было обещано, что когда они вернутся с победоносными арабскими армиями, все еврейское хозяйство будет им отдано на разграбление. Они остались на местах, о чем у них нет оснований жалеть. Они обрабатывают все пригодные для обработки земли центральной Галилеи. Для новых поселений надо подгото-

вить целину: убрать камни, террасировать горы, проводить дороги, устраивать водоснабжение. Иодфат — первый еврейский пункт в центральной Галилее.

Кончается день, полный движения и новых впечатлений. Думаешь — какое значение имеют городские сенсации, речи, волнения по сравнению с картиной этого спокойного, творческого труда, невидного и бесшумного, как труд корней, скромного до анонимности, но ежедневно, ежечасно меняющего лицо страны?

Автобус с притушенными огнями мчится по ночной дороге в Тель—Авив, но мысль невольно возвращается к одиноким баракам на высоте Иодфата, к пустынным горным дорогам севера, к заброшенным деревушкам, где упорные люди ведут какую-то свою жизнь, так непохожую на наше городское существование.

1961 г.

УРОКИ ПРОШЛОГО

Коррадо Пицинелли, летучий репортер — тот самый, который зацепил Хрущева на приеме в Кремле, чуть не пропал в Конго, побывал в Китае, едва не был подстрелен в Алжире — позвонил мне по телефону из отеля "Шератон" в Тель-Авиве. Он остановился там на два дня по дороге из Мюнхена в Стамбул, он представлял флорентийскую "Национе" и другие итальянские газеты. Он просил меня помочь ему отыскать в Израиле нескольких экс-коммунистов, по личному опыту знающих советскую действительность и достаточно авторитетных, от которых он хотел дознаться, что они думают о нынешнем хрущевском этапе в развитии коммунизма. Короче: "Куда мы идем?"

Два дня — срок небольшой, но Коррадо не терял времени. Он сам расскажет или уже рассказал, что слышал и видел. Собеседников своих он фотографировал, щелкнул на всякий случай и меня, хотя я и не принадлежу к категории лиц, которые могли бы заинтересовать этого смышленного и быстрого итальянца. Он был для меня любопытнее, чем я для него: в погоне за информацией утративший веру во что бы то ни было, трезвый, в меру циничный и твердо убежденный, что коммунизм никаким внутренним переменам и

смягчениям не подлежит ("войны, как видно, не избежать"). Такое "неприятие" коммунизма таит в себе опасность, так как нормальный человек войны хотеть не может и если придет к убеждению, что коммунизм иначе как атомной войной неустрашим, то это скорее поколеблет, чем укрепит его волю к сопротивлению. Пицинелли, как многие иностранцы, не видел причины, почему русский народ должен быть недоволен коммунизмом, который "так много ему дал". И насчет поэта Евтушенко высказал мысль, что будь он поэтом не русским, а какого-нибудь нацменьшинства — казахским или грузинским, — то ни в какую бы его границу не пустили и головы поднять бы не дали. Евтушенко представлялся итальянцу Пицинелли делегатом русского империализма, глашатаем новой российской славы.

Пицинелли посетил в Израиле двух человек. Один из них был пресловутый Мордехай Орен, один из лидеров израильской левосоциалистической партии Мапам, в свое время весьма просоветской и соединяющей веру в мировую революцию "по-ленински" с сионизмом и израильским патриотизмом. Это соединение давно дало трещину в сердцах и в действительности, но фактом остается, что Орен был одним из самых воинствующих и злобных сталинистов в Израиле, его-то именно и выбрали заплечных дел мастера в Праге для ошельмования на процессе Сланского. Во время одной из очередных поездок Орена за границу (на "Конгресс мира" в Восточной Германии) его арестовали на чешской территории и продержали в тюрьме 4 года. Его заставили сыграть недостойную роль на процессе Сланского, а от окончательной гибели и позора (угрожала ему отправка в Москву "свидетелем" на процессе врачей) спасла его смерть Сталина и последовавший за ней хрущевский "отбой". Вернувшись в 1955 году домой, он написал известную книгу "Пленник в Праге". Пици-

нелли читал ее во французском переводе. Орен до сих пор с упорством маньяка добивается "реабилитации" от своих судей. После долгих закулисных ходатайств его амнистировали, но так и не реабилитировали. Теперь Орен снова политически активен: пражский опыт с него, по-видимому, сошел как с гуся вода. "Complement fou (Настоящий сумасшедший), — сказал Пицинелли, вернувшись после интервью с Ореном. — Он мне объявил, что он коммунист, что он пламенно верит!"

"Верую, ибо нелепо!" — невольно приходит на ум псевдотертуллиановское изречение, в котором есть вызов стихиям, рассудку вопреки и наперекор людям, готовым оправдать палачество, направленное даже против них лично, против их партии и их народа.

Вторым, кого посетил Пицинелли — и я присутствовал при этой затянувшейся беседе с глубоким интересом и сочувствием к нашему собеседнику, — был Иосиф Барзилай (Железный на иврите). По словам Пицинелли, который изъездил свет, во всем мире найдется не более трех-четырёх человек, которые по обстоятельствам их биографии и интеллектуальному уровню могут быть поставлены рядом с ним.

Иосиф Барзилай родился в Кракове и юношей прибыл в Палестину. Он один из основателей ПКП (Палестинской коммунистической партии). С 1927 по 1931 год он был генеральным секретарем. Это было время, когда коммунистов, прозванных "мопсами" (по заглавным буквам Мифлегет поалим социалистим — Партия социалистических рабочих), особенно ненавидели в еврейской Палестине, и было за что. Во время погромных беспорядков 1929 года, организованных муфтием, еврей-коммунисты, следуя директивам Москвы, солидаризировались с арабами и призывали к ликвидации сионистского движения. Не нужны евреи в арабской стране, и, следуя этому лозунгу, около пятисот фана-

тически преданных Советской России коммунистов оставили страну и вернулись в Советский Союз. Почти все они были там уничтожены Сталиным. В 1931 году и их предводитель Иосиф Барзилай уехал в Москву и занял пост главы Средне-Восточного отдела Коминтерна. Четыре года спустя он был арестован и пропал без вести. Все забыли о нем.

Можно представить себе сенсацию, когда в 1956 году Иосиф Барзилай вернулся в Израиль. Это произвело впечатление воскрешения из мертвых. Немногие старожилы помнили эпоху двадцатых годов. Вернулся седой старичок (с бородкой клинышком он очень похож на Калинина), но бодрый духом и перерожденный. За ним был двадцать один год тюрем и лагерей в далеком Норильске за северным полярным кругом, два смертных приговора, чудом не приведенные в исполнение, эпопея, отчет о которой полностью еще не опубликован. При отличной памяти Барзилая, при его опыте, при его способности наблюдения и размышления он представляет неоценимый источник информации.

Большая книга Барзилая выйдет через год-два у Прегера в США. В Тель-Авиве, в издательстве "Ам овед" ("Трудовой народ"), недавно вышла его книга "Свет в полночь" (в противоположность книге Кестлера "Тьма в полдень") — о евреях в советских лагерях. В этой книге автор ничего не говорит о себе, хотя, несомненно, из всех евреев, когда-либо находившихся в советских лагерях, он пережил самые необыкновенные приключения и превращения. Книга "Свет в полночь" рассказывает о жизни евреев, погибших в советском заключении: простодушного рабочего-революционера царских времен; юноши-идеалиста, нелегально перешедшего из соседней Польши советскую границу, стремясь "на родину всех трудящихся"; ученого профессора-биолога, старого социалиста бундовца (рассказывает обстоятельно и как бы выполняя святой

долг), — это повесть их веры, разочарований и гибели.

Но Пицинелли интересовало другое: спустя двадцать один год скитаний и мучений вернулся бывший коммунистический лидер домой. Что же он теперь собой представляет, как оценивает положение? По освобождении в 1956 году и реабилитации Барзилай (в Советском Союзе — Бергер) имел полную возможность "вернуться в ряды". Вместо этого он немедленно уехал в Польшу, оттуда — в Израиль. Замкнулся круг его жизни. Характерно, что руководители израильской компартии, узнав, что он находится в Варшаве, просили его, как "верного товарища", остаться в Польше, не приезжать в Израиль. Они боялись его, как боятся ночного привидения. Но если есть в этом человеке действительный живой и немеркнущий "свет в полночь", то это любовь к народу и стране. Весь он, вся его фигура, слова, взгляд живых глаз, излучают душевность и человечность, прошедшую невредимо через все испытания. И Барзилай на месте, в Израиле, он дома.

Пицинелли, разумеется, задал ему первый вопрос: "А за что вас арестовали?" (тут мы оба рассмеялись), и потом: "Самое страшное, что пришлось вам пережить?"

Пожалуй, самый тяжелый период — те четырнадцать месяцев, когда он ждал приведения в исполнение смертного приговора. Но вообще нельзя отметить, в какую минуту происходит "самое страшное". "Самое страшное" — не в однократном событии, а в том нечеловеческом искажении или откровении зла, которое нарастает постепенно и уносит человека, как лавина щепку; во вдруг наступающем прозрении, потрясающем все душевное существо человека, когда открывается ему то, после чего он никогда уже не сможет вернуться к прежнему спокойствию или наивной вере прежних дней. "Самое страшное" не случилось в жизни М. Орена, но случилось с Иосифом Бергером-Барзилай

ем. Вернувшись после двадцатипятилетнего отсутствия на родину, в Израиль, он отстранился от политической деятельности, от всякой партийности, и целью своей жизни поставил рассказать правду — свободно и ничего не скрывая. Барзилай не марксист, поскольку верит в надпартийную правду, обязывающую человека перед его совестью.

Вот характерный эпизод: "Я коммунист, я соглашаюсь и признаю все партийные резолюции и постановления — чего вы хотите от меня?" И следователь на это: "Вы соглашаетесь со всеми резолюциями, которые были приняты в прошлом, но согласны ли вы также и с теми, которые будут приняты в будущем?" И Барзилай в простоте души искренне ответил: "Ну нет! Как же я могу быть согласен с теми резолюциями, которые еще будут постановлены? Ведь я их не знаю!" И следователь торжествовал: "Попался! Плохой из тебя коммунист!" Он был прав, этот сталинский следователь: Орен на месте Барзилая не забыл бы, что "партия всегда права". Здесь коренное различие между честными людьми, которые могут ошибаться и знают это, и политическими изуверами сталинского (и не только сталинского) толка, для которых "правда" — это партийная газета, что бы в ней ни писали.

Иосиф Бергер, познавший брэнность путей человеческого духа, не сломился, а смягчился на советской каторге за двадцать лет. "Марксизм не в состоянии объяснить, как стал возможен в Советском Союзе культ личности", — говорит он. Он не согласен с Джиласом, который выдвинул теорию нового класса. По его убеждению, дело не в новом классе, а в том, что Сталин истребил целую формацию революционеро-идеалистов, и именно это обстоятельство сделало возможным торжество террора в России. С этим трудно согласиться: само это истребление, сама возможность его, заложенная в доктрине диктатуры, уже были тер-

рором. Культ личности был не результатом прихода Сталина к власти, а тем, что укрепило его власть. Диктатура выражается в насилии — диктатор не может не быть террористом. Сталин был великим террористом, и все его дела служили укреплению диктатуры.

Когда Пицинелли заметил, что "система не может сама себя ликвидировать", Барзилай ответил, что стремление к свободе необоримо, человек сильнее механизма. Итальянец вежливо улыбался. И, однако, Барзилай не мог целиком отрешиться от веры, которая воодушевляла его в коминтерновские годы. В предисловии к своей книге о евреях в советских лагерях он написал следующее: "Жертвы, погибавшие в Норильске, люди чистые духом и самых разных воззрений, не ставили происходившее в ГУЛАГе и Норильлаге в счет социализму. Тогда, как и теперь, двадцать лет спустя, я отвергаю это безапелляционное объяснение, будто социализм во всем виноват... Для меня коммунизм и варварство — вещи несовместимые". Несовместимое в понятии Барзилая оказалось совместимо в жизни, но что же такое "коммунизм" для этого человека с его тюремным и лагерным стажем в двадцать лет? Я задал ему этот вопрос, и он ответил: "Решение социальных проблем научным, рациональным путем, всечеловеческая солидарность, гармония..." Что ж, если так, придется нас всех записать в "коммунисты". Все мы за разум, за рациональное устройство общества, за мир и любовь... каждый по-своему. Для нас "коммунизм" — это именно то, что существует почти полвека в Советском Союзе, и если я не могу согласиться с Пицинелли, что "коммунизм — это система", то лишь в том смысле, что метод в отвлечении от живых людей, которые им пользуются, есть такая же абстракция, как и "идеальный строй", противопоставляемый действительности. Умудренный опытом Барзилай — хороший человек, но это потому, что он плохой коммунист. Следовательно

был прав, а мы правы в неприятии следовательского коммунизма. Нельзя быть хорошим человеком и хорошим коммунистом одновременно. Надо выбирать.

И здесь я хочу оставить Барзилая и Пицинелли и рассказать о том, что случилось со мной сорок пять лет назад, когда коммунизм еще только начинал свой триумфальный поход по Европе и Азии.

Я был учеником пятого класса реального училища в Екатеринославе. Мне было семнадцать лет. Жильцы дома по Казачьей выбрали меня секретарем домкома. Февральскую революцию я принял с энтузиазмом, Октябрьскую — не принял вовсе. На то были свои причины... но одно переживание сыграло решающую роль.

В одно непрекрасное утро в своем новом качестве секретаря домкома я отправился в городской комитет, помещавшийся в белом здании на углу Воскресенской и Екатерининского проспекта в бывшем губернаторском доме. Из нашего дома забрали на работы в принудительном порядке некоего Аверьяна, жалкого человечка-торговца. Жена его заболела, а двое детей, оставшись без призора, легли бременем на жильцов-соседей, которые в конце концов возопили: "Как долго нам их кормить? Пусть вернут отца с работ или заберут детей". Я и пошел выручать Аверьяна... и в горькое прежде всего попал в кабинет к очень живописному пролетарию. Он, не дослушав меня и решив, что я сын этого самого Аверьяна и его больной жены, сразу решил судьбу их: "Да пусть они околевают!" Я объяснил, что прислан жильцами, которым не под силу кормить оставшихся ребят. Он послал меня в другие двери. Я пошел... и заблудился.

В первые месяцы революции перемешаны были все учреждения. Комната, куда я попал, была полна народу. В большом помещении, вроде залы, никто не обратил на меня внимания. Я прислонился к стене и застыл в ужасе. Среди людей во френчах и военных

гимнастерках, с ремнями через плечо, рассеявшихся по всей комнате, стоявших у окон, метался человек в мундире, как и они, но растерзанный, потный, красный, с безумными глазами. Он бросался от одного к другому, хватал за руки, называл по именам — "Кто будет меня расстреливать?" Они осыпали его бранью, отталкивали от одного к другому, играли с ним, как с затравленной мышью. Я понял: его уличили в том, что он взял взятку (тогда, как и теперь, расстреливали в Советском Союзе за подобные преступления). Я видел в глазах этого человека животный ужас перед смертью, но страшнее было злорадство и глумление окружающих его чекистов: оскаленные зубы, хищная радость — радость убийства. Я окаменел. Кто-то сделал шаг к нему, и он завизжал: "Не бейте, не бейте!"

Я выбрался за двери, пока меня не заметили, и бежал, бежал из страшного дома, из круга этих людей, из круга их идей и "идеалов", бежал навэки.

Я был зеленым юнцом, и это было мое первое настоящее соприкосновение с жизнью. В ту минуту я приобрел несомненную уверенность, что из этих людей никакая "система" не построит идеального общества, что эти люди не способны построить ничего доброго и хорошего в мире, наоборот — "система", которая их использует как материал, сама станет орудием в их руках. Ленин в кепке, сдвинутой на лоб, революция этих людей перестали мне импонировать. Их товарищ-взяточник был для меня человечнее и ближе этих палачей. С чувством отвращения и омерзения я вышел оттуда. В первый, но не в последний раз я испытал это чувство с такой силой.

Надо ли двадцать лет просидеть в тюрьмах и лагерях, как Иосиф Барзилай, чтобы понять элементарную силу ненависти и зла в мире? Иногда достаточно для этого четверти часа, меньше того — взгляда, одной секунды, одной конфронтации, одной встречи лицом к

лицу с тем, что таится за белым фасадом "систем" и официальных зданий.

1962 г.

ИЕРУСАЛИМ – ОБИТЕЛЬ МИРА

7 июня 1967 года войска Израиля заняли Старый город Иерусалима.

Можно говорить об освобождении Старого Иерусалима – “интра мурос”, в стенах 450-летней давности, и о воссоединении двух частей города, разъединенных адской ненавистью, как о событии, которое может стать мировым, если только силы мрака снова не возобладают.

Старый город полон святынь, это центр трех мировых религий – христианства, ислама и иудаизма. Но не одинаково его значение для них. Для католицизма духовный центр находится в Ватикане, там, где резиденция папы римского; мусульмане тяготеют к Мекке. Только для евреев в течение тысячелетий нет и не было другого мистически-религиозного центра, кроме Иерусалима. Не поддержанное силой, это убеждение жило в ежедневных молитвах и в словах псалма “Если забуду тебя, Иерусалим...” Но никого особенно не интересовало и никем в мире в расчет не принималось.

Эта исконно-религиозная связь евреев с Иерусалимом усилена еще кровной связью. Для христиан Иерусалим – цель паломничества, а не родина телесная: по-

клонившись святыням, паломники возвращаются домой. Для магометан Эль-Кудс (Иерусалим) – провинциальный городок по сравнению с многолюдными столицами их стран. Только для евреев Иерусалим – столица также и национальная, политический символ обретенной государственности.

Для христианского мира требование интернационализации Иерусалима в известной мере объясняется и оправдано религиозным значением этого города.

”В известной мере”. Следует различать между интернациональным и наднациональным Иерусалимом. Интернациональный статус и наднациональная святость – разные вещи.

Наднациональность Иерусалима должна и может быть обеспечена. Тогда как для интернационализации Иерусалима нет оснований и нет возможности.

Прежде всего отсутствует носитель интернациональной власти.

”Объединенные Нации” – вывеска без содержания. Они скомпрометировали себя всюду, где требовалось их вмешательство, и оказались бессильны столько раз, сколько раз их деятельность парализовалась советским вето, то есть более ста раз. Последняя трагикомедия с выводом отрядов ООН, охранявших израильско-египетскую границу, по первому требованию воителя, объявившего, что он постановил ”уничтожить и стереть с лица земли” негодное ему государство, – достаточное доказательство, что организация эта в ее теперешнем состоянии не может гарантировать безопасность и элементарные права Израиля.

Говоря об ”арабском Иерусалиме”, парижская ”Монд” уже поторопилась высказать свое мнение, что ”немыслимо, чтобы великие державы согласились на аннексию Израилем арабского Иерусалима”.

САМЫЙ СИЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ

В годы второй мировой войны полмиллиона евреев мужественно боролись в рядах Советской Армии. Тысячи евреев боролись в рядах партизан Польши, Югославии, Болгарии и Чехословакии. Тысячи награждены орденами. Все орденосцы, проживающие в Израиле, возвращают свои ордена правительствам этих стран в знак протеста против неблагодарной их политики.

В рядах борцов с гитлеризмом, в рядах партизан не было арабов. Наоборот, духовный глава арабского мира, иерусалимский муфтий, на службе у Геббельса изо дня в день вопил по радио, призывая поддерживать Гитлера. Восстание в Сирии объективно было также прогитлеровским. Стоит ли комментировать эти факты?

Это говорят те, кто никогда не употреблял такого языка по отношению к аннексии Советским Союзом Кенигсберга или Польшей — Щецина.

Слово "аннексия" неприложимо к Иерусалиму с его преобладающим еврейским населением: двести тысяч против нескольких десятков тысяч на стороне, оккупированной Иорданией с 1948 года. Немыслимо, чтобы воссоединенный Иерусалим был отдан под опеку какой-нибудь новой комбинации индусов с югославами, под командованием нового У Тана или той или иной великой державы — это могут предлагать только открытые враги Израиля.

Пора вернуть Иерусалиму его святость и очистить от осквернения, которому он подвергался веками. Иерусалим свят для верующих всех религий и многих народов. Но за последние полвека "арабский" Иеруса-

лим был средоточием сатанинской ненависти, гнездом убийц и бандитов. Здесь проповедовалась война на уничтожение; здесь действовал иерусалимский муфтий – скрытый, а потом явный агент Гитлера; здесь в дни суда над Эйхманом, в двух шагах от Крестного пути, устраивались шумные демонстрации в защиту Эйхмана – он был их героем и чемпионом. Немыслимо, чтобы Израиль согласился на возвращение буквально в столицу своего государства преступников, только что запятнавших себя варварским опустошением и разрушением сотен домов в ней, принесших пожар и кровопролитие в израильскую часть города. Кто посмеет требовать этого, кроме явных пособников преступников?

Дважды, в 1948 году и в июньские дни 1967 года, Старый город открывал огонь по Новому Иерусалиму. В 1948 году, когда рвались снаряды на его площадях и улицах, город, отрезанный от приморской долины, от снабжения, от воды, героически отстоял себя при полном безучастии цивилизованного и христианского мира. Никто не поспешил тогда на выручку из стран, требовавших потом его интернационализации. Это повторилось и в июне 1967 года. На весть об угрожающей городу, в обеих его частях, опасности не откликнулась ни одна живая душа. Державы были нейтральны, а отстояли город опять-таки евреи. Иорданская артиллерия была по университету, музею, резиденции президента, по жилым домам и храмам, по базилике Успения...

В конце концов, город принадлежит тем, кто за него умирал и выкупил его кровью, а не тем, кто от него отвернулся в пору смертельной опасности.

Иерусалим – город не интернациональный, а наднациональный, но эту его наднациональность хранить, уважать и обеспечить призван Израиль, а не ООН, терроризированная кликой, засевшей в Москве, и не экс-

колониальные державы, которые себя достаточно показали на Ближнем Востоке.

Я верю, что наднациональный статус святынь Иерусалима может быть обеспечен на тех же приблизительно основаниях, что статус Ватикана в черте города Рима. Верю, что христианские, мусульманские и еврейские святыни могут быть выделены в экстерриториальный округ под управлением Совета трех религий, с определенными административными функциями, без политических амбиций. Иерусалим святынь может стать обителью мира под религиозным самоуправлением и без интервенции арабских или израильских государственных органов. Совместная ответственность за этот Град Божий была бы действительным испытанием церкви, синагоги, мечети. И я уверен, что она была бы принята без труда теми ортодоксальными кругами еврейства, которые по сей день не признают светского Государства Израиль. Кстати, также и их квартал в Иерусалиме Меа Шеарим подвергся арабской бомбардировке.

Обстановка, возникающая в результате разгрома короля Хусейна, владевшего Старым городом, требует не возвращения к прежнему положению, — как домогаются этого те, кто пальцем не пошевелил, когда Израиль просил международной гарантии своих границ. Должны быть заложены основы прочного мира и доброго соседства на Ближнем Востоке. Если же и на этот раз оставят Израиль лицом к лицу с демонической ненавистью нацистского типа, с недобрым союзом арабского изуверства и коммунизма последышей Сталина, — то потрясутся основы западной демократии скорее, чем основы Сиона и древних святынь Иерусалима.

1967 г.

МЕГАЛОПОЛИС ТЕЛЬ-АВИВ

Профессор Жан Готтман, один из известнейших географов нашего времени, выпустил в прошлом году монументальную — восемьсот страниц — книгу "Мегалополис". Двадцать лет он обдумывал этот труд, работа над ним продолжалась пять лет при участии целого штата сотрудников в разных городах США. Мегалополис, исследованный ученым автором, простирается от Бостона до Вашингтона через Нью-Йорк, Филадельфию, Балтимору — цепь миллионных городов, смыкающихся в некий сверхгород — Мегалополис, гигантское порождение промышленно-технической цивилизации двадцатого века. Население североамериканского Мегалополиса приближается к сорока миллионам, и в пределах его возникают специфические проблемы, которых не представляли себе социологи, строители и администраторы прошлого века.

Профессор Жан Готтман создал новое понятие. Он видит в мегалополизации одну из основных тенденций нашего времени. Для него североамериканский мегалополис на атлантическом побережье только наиболее яркий образец, модель современного развития. Лондон, Париж, Москва, Токио... разливают-

ся неудержимо, превращаясь в невиданные доселе чудовищные концентраты коллективного труда и культуры. Между прочим, во время своего недавнего визита в Израиль профессор Готтман высказал мысль, что и у нас растет свой мегалополис. Он, конечно, сравнительно невелик, применительно к местным масштабам, но в будущем, думает профессор Готтман, от Тель-Авива до Хайфы на протяжении ста километров будет простираться один непрерывный город. Уже и сейчас стираются границы между Тель-Авивом и окружающими его предместьями — городами Рамат-Ганом, Бат-Ямом, вплоть до Петах-Тиквы. Все это в совокупности один сплошной город с почти миллионным населением. Как ни стараются регулировать этот процесс, отводя в другие районы новых иммигрантов, Тель-Авив разбухает. Уже Герцлия и Нетания, с одной стороны, Ришон-Лецион и Реховот, с другой, становятся его придатками.

Тем временем мегалополис Тель-Авив живет своей жизнью, и ошибется тот, кто представит его себе по образцу городов Запада, хотя бы той Тулузы, с которой Тель-Авив обручен договором городов-близнецов. Европа и Америка нам не указ. Проблему урбанизации нашего города можно наблюдать на Алленби, одной из главных артерий, на перекрестке, где сбегаются улицы Кинг Джордж, Шенкин и Бреннер, с одной стороны, и Нахлат Беньямин, Шук Кармель и малозаметный, но небезынтересный переулок Гилеля старца (Гилель-азакен), с другой. Достаточно одного перекрестка! Чего стоят одни названия? Фельдмаршал Алленби и его король отражают эпоху, уже столь отдаленную, первой мировой войны и британского мандата: писатель социалист Бреннер, павший от рук арабских убийц в одном

из переулков старого Яффо в 1920 году, — эпоху раннего идеализма и веры в братство народов; патриархальный длиннородый Шенкин был великим собирателем земель для Национального фонда; а старец Гилель — это эпоха Иерусалимского Талмуда, седая древность. Шаг в сторону — и при улице Ремесленный центр найдем улочки Иоханана сапожника и Ицхака кузнеца, живших в стране Израиля в третьем веке. Посмертный почет они заслужили не умением владеть дротвой и молотом, а как прославленные мудрецы талмудисты (не один, стало быть, Якоб Беме был сапожником и философом!).

На перекрестке стольких улиц, из которых вдобавок одна — Шук Кармель — представляет собой центральный тель-авивский рынок, движение всегда было стеснено. Летом 1962 года, наконец, построили под Алленби два подземных перехода через улицу — с эскалаторами. Эти первые эскалаторы в Тель-Авиве вызвали сенсацию.

Надо было приучить публику пользоваться движущимися лестницами. Но строители не учли одного обстоятельства. К Кармельскому рынку прилегает квартал йеменитов, иммигрантов из южной Аравии. Оттуда хлынуло море детворы — смуглых, жаркоглазых мальчишек и девчонок, и они живо превратили движущиеся лестницы в бесплатное развлечение, вроде качелей на детской площадке. Оравы детей облепили эскалаторы так, что нельзя было к ним пробраться. Пришлось поставить сторожей у входов, чтобы гнать полчища малышей... За ними пришла очередь взрослых. В течение двух недель к эскалаторам стекались любители сильных ощущений, а пугливых и непривычных граждан и робеющих гражданок сторожа приглашали, ободряли и поучали, как надо пользоваться достижениями современной техники:

С течением времени тель-авивские граждане привыкли к эскалаторам, хотя некоторые консерваторы до сих пор не признают их.

На углу рынка Кармель заняли позицию чистильщики обуви. Это персы, египтяне и другие восточные типы (разумеется, все евреи) с небритыми сонными физиономиями, в драных штанах и туфлях на босу ногу. По мере того как солнце подымается, они передвигают в тень свои низкие скамеечки с набором щеток и баночек с крышками из блестящей, ярко-желтой меди. В Европе этим делом занимаются ребятишки, но тель-авивские чистильщики обуви — люди почтенные, и остается предположить, что они работают в своей профессии с детского возраста. Неторопливо орудуют они своими щетками, подремывают в ожидании клиентов, переговариваются между собой на непонятном языке и время от времени принимают из рук бродячего разносчика узкий стаканчик турецкого кофе. Это остров тишины в бурлящем потоке окружающего движения.

Тротуары на этом перекрестке ограждены чугунными перилами, чтобы люди не переходили улицу "вброд". Вынырнув из туннеля на стороне Шенкин, мы попадаем в гущу маляров: этот угол принадлежит им. Десятка три маляров и штукатуров обсели перила, расположились на тротуаре с ведрами, щетками, в измазанной одежде, в кепках, джинсах, вязаных фуфайках, поджидая заказчиков. Тут, неизвестно почему, обосновался их сборный пункт или их станция скорой помощи. Это настоящие "работяги", резерв труда и — несмотря на их пролетарский вид — гнездо частной инициативы. Их происхождение не подлежит сомнению. Тут можно услышать сочный идиш и политические споры на этом языке, причем основное деление — за и против Бен-

Гуриона. А при малярах пристроилась и старая женщина в платке, продающая бублики. В Польше они назывались "бейгелах", а в Западном крае — "баранки" ("абаранки" или по-польски "обважанки"). Все вместе — в самом центре израильского мегалополиса — воскрешает времена Шолом-Алейхема, еврейско-русскую провинцию времен давно минувших. Удивительное и живописное зрелище в самом центре большого города!

А рядом с ним — еще более живописное зрелище.

Стоит пройти несколько шагов от улицы Шенкин на угол Кинг Джордж, и мы оказываемся в толпе девушек: это девчонки, начиная с совсем молоденьких и постарше, и бабы с худыми, смуглыми лицами, в дешевых, по-цыгански пестрых, платьях и платочках, все вместе сидят на перилах ограды или прямо на асфальте под стеной углового дома, под навесом магазина с вывеской "Шик паризьен". В магазине продают пуговицы, а эти девушки — домработницы или, как их называют в Израиле, — помощницы. Лучше не останавливаться без дела и не приглядываться к ним: они сразу обступят предполагаемого "хозяина" или "хозяйку", предлагая свои услуги. Большинство их — арабские еврейки из Марокко, Йемена, из семей с десятком детей, где если не мать, то какая-нибудь дочь приезжает из окрестностей Тель-Авива за 10–20 километров ранним утром в поисках работы. Работа их — мытье полов, уборка квартиры (так называемая "спонжа"), стирка белья. В этом отношении мегалополис Тель-Авив не отличается от Нью-Йорка — здесь тоже домашняя прислуга дорога и держать ее постоянно не по средствам среднему обывателю и не в обычае. В большинстве домов хозяйка берет подходящую "озерет", то есть помощницу, раз или два в неделю, по

часам, полтора фунта за час. Если условились по часам — уборка квартиры тянется нескончаемо, но, если сговорились за все огулом ("кабланут"), та же работа делается молниеносно. Девчонки, молодухи, старухи — все бойки, остры на язык, не дают спуску, и не дай Бог слишком долго выбирать или обидеть при выборе — скандал готов.

Этот сам собой выросший рынок женского труда коробит городские власти, и не раз делались попытки ликвидировать его или, по крайней мере, убрать прочь из центра Алленби куда-нибудь подальше, если уж нельзя всех приучить к бирже труда и бюро по найму прислуги. Но не так это просто, и, сколько ни гнать с насиженного места, через некоторое время, глядишь, все по-прежнему. Снова слет женщин на углу Кинг Джордж в самом центре городской сутолоки и шума, под солнцем, на воздухе, наперерез движению пешеходов, где уже само сидение в ожидании работы является развлечением для жительниц дальних окраин и загородных приезжих.

Редко встретишь здесь статную фигуру, красивое или умное лицо: здесь не место для баловней судьбы. В домработницы тут, как на всем свете, идут наименее одаренные природой и способностями. А кругом гудит и шумит перекресток, переливаются толпы прохожих, перемежаются красные, желтые, зеленые огни светофоров, текут непрерывным потоком автобусы и автомобили всех марок, сворачивая и выплывая из боковых улиц, и с гулом поднебесным летят над головой серебристые птицы, чтобы через три часа высадить пассажиров в Риме и в странах, которых эти женщины никогда, вероятно, не увидят.

Но самый оживленный и главный пункт на нашем

перекрестке находится там, где улица Алленби смыкается с рынком Кармель.

Во всех европейских городах отводят под рынок просторную площадь, в Тель-Авиве центральный рынок все еще занимает узкую, с боковыми переулками, улицу Кармель.

В давнее время улица эта служила переходом к арабскому Яффо. В ее разношерстной толпе смешивались тогда арабские и еврейские продавцы. Переход из одного мира в другой совершался постепенно. Сперва еврейские вывески сменялись двуязычными, потом арабская вязь вытесняла квадратный алфавит, и начинался чистейший Восток — Маншия, арабское предместье Яффо, как острый нож, вклинилось в еврейский город. На рынке Кармель мирно уживались загорелые феллахи в полосатых халатах и головных платках, закрывающих затылок, с короткоштаннами израильскими колонистами и горожанами. Но теперь Маншия разрушена, на ее пустырях будет распланирован новый торговый центр Тель-Авива с прекрасными зданиями. Когда он будет построен, шук перенесут в другое место. Во всем своем живописном безобразии и невообразимой пестроте он представляет собой ныне последнюю реликвию старого Тель-Авива.

Над волнующимся морем вдали виден утес Яффо над морем, с замком и башней. Улица вся запружена народом, заставлена ларями и повозками. Тут все смешалось в одну неразбериху: мясные и колбасные лавки, мануфактура, галантерея, стекло и рыба, овощи и фрукты, чудесное золото израильских апельсинов, грейпфрутов и мандаринов, наваленных грудями, или с июня — виноград, горы яблок и груш, которые только за последние годы вырастили в стране, яркость бананов, тропических ман-

го и авокадо. Никакого порядка и все по старинке: продукты и хлеб прямо под рукой, свитера и платки навалены на лотках, тут же и примеряются. В этой толчее, которая может шокировать иностранца, тельавивские старожилы видят одно: изобилие и богатство плодов земных и промышленных, о которых и мечтать не могли прежние поколения. Все это производит Израиль, все родит земля, где недавно были болота и бесплодные пески. Прошли времена, когда картофель и лук были редкостью, и верблюды вращали каменные колеса примитивных колодцев. Мегалополис растет на развалинах прошлого.

В давке Кармельского базара синагогальным распевом поют сладостно продавцы, а рядом надрываются другие: "Балабаит панчер! Балабаит мешуга!" — "Хозяин разорился! Хозяин рехнулся!" — это значит, что только банкротством или безумием можно объяснить такую их изумительную дешевизну. Тут же разгружают с грузовика арбузы, бросая их через головы, как мячи, и реют над головами покупателей воздушные нижние юбки, развешанные в три яруса, как облако. Молотый кофе крепко пахнет в соседстве с бочками сельдей и цветочными стендами. Рынок, как перекипающий котел, выливается на улицу Алленби — смельчаки самовольно тут же, на тротуаре, выкладывают свой товар из чемоданчиков, пока не сгонят их блюстители порядка. Шук Кармель затопил бы округу, если бы дали ему волю. Но дни его сочтены. Уйдут и маляры, найдут и домработницам другое место, где, может быть, они будут счастливее. Построят новые универмаги и супермаркеты, и только чистильщики обуви останутся на посту, с невозмутимым спокойствием наблюдая перемены: "Суета сует, и всяческая суета".

1965 г.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ДНИ

I

Дни июня войдут в еврейскую историю так же, как вошли в нее дни Маккавеев.

Войдя в Старый Иерусалим и Хеврон, евреи нашли там оскверненные по-гитлеровски кладбища и древние синагоги, превращенные в жилые дома. Кто видел поток паломников, хлынувший в первый день освобождения к Стене Плача — двести тысяч, во второй день их было пятьдесят тысяч, в третий день десятки тысяч, — никогда этого не забудет. Когда на третий день пришел и я к этой Стене, мне так и не удалось прикоснуться к ней — она на всем протяжении была закрыта живой стеной припавших к ней молящихся.

Победа превысила все ожидания... И неправда, если кто задним числом станет твердить, что он был в ней уверен, что он предвидел ее. Сказал американский министр обороны Макнамара, что он ошибся всего на два дня — думал, что Израиль кончит войну в пять дней, а понадобилось только три.* Мы здесь

* 8 июня арабы заговорили о мире. Именно этот момент имел в виду Макнамара. После этого война продолжалась еще три дня.

не были так уверены. Мы не сомневались в том, что отобьемся от врага, но не ждали, что разгром примет такие размеры. Мы не знали того, что знало израильское командование, годами готовившееся к отражению губительной атаки в условиях окружения, численного перевеса и очевидного преимущества противника в танках, самолетах, ракетах советской продукции. Зато мы знали отлично, что нам угрожал в те первые дни июня, когда с каждым днем усиливалась концентрация войск арабского гитлера в нескольких километрах от наших домов в Тель-Авиве и в нескольких метрах в Иерусалиме.

Оглушительный хор радиостанций в Каире, Дамаске, Аммане, Бейруте, Багдаде и в близкой Рамалле обещал нам тогда такую резню, какой свет не видел со времени Тамерлана... "Массакр" (резня), — выговаривали они по-французски, со вкусом и сладострастием потирая руки. И радость черни, всегда готовой на погром, была неопишима. Мы не питали иллюзий: и среди израильских арабов, в общем спокойных и лояльных, имелось достаточно готовых "погулять" и поработать ножами в кибуцах и городах, как только представится возможность.

Настроение в стране, предоставленной собственным силам накануне рокового испытания, было далеко от молодечества и легкомыслия; оно было торжественно и радостно от сознания своей боеспособности. Нет, не легко уничтожить целый народ из двух с половиной миллионов, который Аба Эвен сравнил со сжатой под огромным давлением стальной пружиной, способной распрямиться со страшной силой.

Легкомыслие было на стороне арабских вожakov и их антисемитских подстрекателей в Москве. Насер переоценил свои возможности; Москва, в силу своего слепого антисемитизма, недооценила

боевые качества израильской армии, а Израиль — на счастье, не послушал мудрых советов англо-американских друзей. "Врагов имеет в мире всяк, но от друзей спаси нас, Боже". Друзья — когда все зависело от того, кто первый нанесет удар всей силой, — советовали Израилю ничего не делать, и сами не торопились. "Только не начинайте войны!" — напутствовал де Голль Абу Эвена при последнем свидании в Париже, когда эйлатский порт уже был в петле блокады и каждый день бездействия приближал катастрофу.

2

Дважды был потрясен Израиль в те дни.

К советским оскорблениям и угрозам здесь привыкли. Очень страшно, но что же делать, не кончать же самоубийством в угоду Косыгину. Но был момент, когда нация содрогнулась, когда холодок прошел по спине, когда ледяное острие коснулось сердца: это было, когда "слава и гордость Франции" постановил, что его больше ни к чему не обязывает тройственная гарантия безопасности Израйля, подписанная в 1950 году, и он намерен соблюдать "нейтралитет" в арабском наступлении на Израиль. Он наложил эмбарго на поставку оружия и запасных частей Израилю в тот момент, когда советское оружие потоком текло в арабские страны. "Роман" с Францией оборвался безобразно, и мы поняли, что на ее помощь рассчитывать нечего.

Теперь можно уверять, будто де Голль знал, что его помощь не нужна; это ложь и увертка; мы этого сами не знали и знать не могли... Франция оставляла за собой на случай нашего вероятного поражения роль "заступника" перед арабским победителем. Этот удар ножом в спину означал, что злопа-

мятный генерал расплачивался с американцами за их предательство по отношению к Франции в 1956 году в Суэце. Тогда Эйзенхауэр спас Насера — теперь де Голль становился в позу друга арабов. Можно сказать, что это был единственный момент, когда мы вдруг почувствовали, что мы одни во всем мире. "Нейтралитет" де Голля был сигналом — за ним последовал "нейтралитет" Англии и Соединенных Штатов — "на деле, на словах и в мыслях", как выразился представитель госдепартамента Роберт Мак-кроски.

Израиль был брошен и предоставлен собственной судьбе в ситуации, когда только быстрая и решительная победа могла спасти его от полного уничтожения и катастрофы. Я могу сказать то, чего не скажут дипломаты и официальные представители Израиля: в тот момент что-то надломилось в душе поколения, и никогда больше оно не вернется к тому состоянию внутренней уверенности и доверия к Западу, какое было в ней до того. На Востоке открытое зверство, а на Западе политический разврат и бездушные верхов. Маркс был прав в своей оценке политической морали нашего времени, но Маркс умер. Ясно, что победа Израиля будет иметь свои последствия, и тот же де Голль "еще нам поможет", как уверяют многие в Израиле. Но поможет или нет, в наших глазах он окончательно потерял свой ореол. Холоден теперь Израиль как лед, и не надо быть пророком, чтобы предвидеть его поворот к старому еврейскому Богу, который велел не глядеть по сторонам и не творить себе кумиров — нигде и никогда.

А во второй раз — и уже не столь трагически — потрясло Израиль, когда, вслед за другими вассалами Москвы, Польша тоже прервала с ним дипломатические отношения. Неопишемое впечатление про-

извело это событие на остаток польского еврейства, осевший в Израиле. Ведь именно там, в Польше, на ее территории, в ее гетто, в ее освенцимах, майданеках, тревлинках совершилась казнь еврейского народа, свидетелем которой был польский народ. Польский народ в целом, как и другие народы Европы, стоит на стороне Израиля, ему понятно происходящее здесь... Здесь проявилась исключительная низость правящей в Польше клики, которая в угоду ее московским хозяевам стала на сторону арабских гитлеровцев, мечтающих повторить и довершить в Израиле то, что немцы Гитлера сделали с еврейским населением Польши. Не было никакой необходимости в таком угодничестве, ведь соседняя Румыния имела мужество сохранить дипломатические отношения с Израилем.

Сконфужены теперь многие в Польше, как и мы в Израиле и во всем мире сконфужены, подавлены этой лакейской манерой, распоясавшейся в стране, близкой нам по многим воспоминаниям... И остается только пожелать, и себе и им, чтобы это наваждение прошло как дурной сон, но и дурные сны оставляют свой след в смятенной душе поколения.

3

Что теперь ждет Израиль в будущем? Что ждет весь мир в будущем? Ведь от того, как решится судьба Израиля, зависит будущее всей заколебавшейся в своих основах цивилизации. Советский Союз не может быть арбитром, он сторона в войне, и не со вчера. Вопрос ставится ребром: война или мир! Готовы ли арабы на признание и мирное соседство? Если мир – стоит заплатить за него большую цену. Но если война продолжается, и арабы продолжают настаивать на уничтожении жизнеспособной и бое-

способной (как показали события) нации, то что ж — будем воевать. И в этом случае никто нас не заставит уйти с линии фронта перед противником к исходным позициям, как этого хотелось бы противнику, заявляющему о своем желании продолжать войну.

Сколько говорилось о судьбе "беженцев", которых Израиль не хочет принять! Но вот Израиль "принял" большую часть "беженцев": несколько сот тысяч теперь находятся под его властью. И это, наконец, единственный шанс — после девятнадцати лет воспитания в духе ненависти со стороны подстрекателей к войне — быть устроенными по-человечески, на основе конструктивного плана, к полному их удовлетворению и к зависти тех, кто остался за Иорданом.

Как их "устроила" Арабская лига, мы знаем. Следует теперь дать Израилю возможность разрешить проблему "беженцев" по-своему, в чем есть у него, как известно, большой и плодотворный опыт.

1967 г.

ЦАРСТВО БОЖИЕ ДАЛЕКО

Мало кто за границей обратил внимание на интервью, данное Давидом Бен-Гурионом корреспонденту тель-авивской газеты. Старик (81 год), будучи частным лицом и имея возможность говорить открыто, сказал, что предпочитает "малый" Израиль в границах до 5 июня прошлого года плюс мир нынешним границам без мира. Нет смысла занимать территории с арабским населением, сказал он, если нет евреев для их заселения, а по мнению Бен-Гуриона даже в границах "малого" Израиля еще довольно места для массовой иммиграции.

Члены правительства более осторожны в своих

высказываниях, но все согласны в том, что, пока арабы не хотят мира, вооруженные силы Израиля останутся на линиях, наиболее удобных для обороны, в ожидании приемлемого для обеих сторон компромисса. Эту позицию, далекую от экспансионизма, поддерживает большинство израильского населения. Последние опросы населения показали, что семьдесят восемь процентов высказываются за согласованные и безопасные границы, которые положили бы конец арабо-израильской войне.

Тем временем израильтяне все больше привыкают к новым контурам страны: с выгибом на севере в сторону Сирии, границей на Иордане и огромным, свисающим к Суэцкому каналу мешком Сина на юге. Жить стало просторно... Но мало кто сомневается, что за мир — за действительный мир и добросердечные отношения с соседями — Израиль отдал бы все, что занято в те шесть июньских дней. Мечта о мире, как мечта о Царстве Божием на земле...

Казалось бы, чего проще отказаться обеим сторонам от взаимных притязаний. Пусть самоопределяются, как угодно. Даже двенадцать процентов арабов, проживающих в Израиле, могли бы при желании сменить свое гражданство на иорданское или любое другое, но остаться жить в Израиле на правах постоянных жителей, как поступают многие американцы и европейцы, при открытых границах и свободе передвижения.

Даже в Старом городе Иерусалима со святыми местами трех религий можно было бы установить некий кондоминиум ко всеобщему удовлетворению. Это кажется просто... но это и есть то самое Царство Божие на земле, к которому люди не готовы.

Арабы упорно заявляют о непризнании Израиля и незаключении мира с ним. Даже безоговорочное отступление Израиля к границам до Ше-

стидневной войны не удовлетворило бы их. В игру входит "арабская честь", и, как выразился недавно Насер, "что взято оружием, должно быть возвращено оружием", то есть войной. "Арабская честь" требует не мира, а победы. Тунисский президент Бургиба назвал Насера несчастьем арабов, но мне кажется, что несчастье арабов живет не столько в Каире, сколько в Москве. Это несчастье — фанатизированное за полвека и слепое в ненависти общество.

Если в чем-либо и трудно согласиться с министром иностранных дел Израиля, то это с его мнением, недавно высказанным в Париже, что не нужен посредник между Израилем и арабскими правительствами, так как нет между ними войны. Война явным образом продолжается, военные действия не прекращены, а только приняли форму террористических диверсий и контрдиверсий. Именно эта деятельность террористов, направленная не против частных целей, а против самого существования Израиля в целом, и делает химерным всякое требование об отступлении с занятых позиций. Перед атакующим врагом не отступают. Отступление привело бы только к новым требованиям и к новой волне терроризма.

Ранним утром 2 мая мы, группа корреспондентов и приглашенных гостей, выехали из Тель-Авива на парад в честь двадцатилетия независимости Израиля. Везли нас более трех часов кружной дорогой — через занятую территорию Западного берега, и мы прибыли к трибунам для зрителей с противоположной, северной, стороны Иерусалима. Это было сделано для нашего удобства — прямая дорога из Тель-Авива в Иерусалим была в то утро забита лавиной автомобилей, спешивших на парад. К концу

поездки; уже почти у самой цели, попали и мы в за-тор и потеряли много времени, но зато всю дорогу наслаждались зрелищем мирной и невозмутимо спокойной жизни.

Майское солнце лежало на полях, на которых работали крестьяне, мы проезжали живописные деревни, городки, которые не праздновали израильской независимости, но и не страдали от нее — наглядное опровержение пропаганды об израильских "жестокостях".

В Старом городе Иерусалима, как мы потом узнали из газет, сотня женщин из арабской интеллигенции во главе с женой бывшего министра короля Хусейна устроила демонстрацию под лозунгом: "Иерусалим — наш!" Их задержали и через несколько часов развезли по домам. От предложенного им кофе в полиции они героически отказались. Если эта демонстрация о чем-либо свидетельствует, то лишь о том, что арабское население Иерусалима не очень боится израильской полиции и с полным основанием: своя была куда более грубая.

Коротко о самом параде. Это, вероятно, был последний военный парад в Израиле на долгие годы вперед. Многие здесь, включая и командующего израильской армией генерала Бар-Лева, считают ненужными такие парады по праздникам. Надо ли еще доказывать силу и боеспособность Армии Оборона Израиля? Предлагают в будущем году заменить военный парад торжеством гражданским и более карнавальным. Но в этом году парад имел особое значение. Приготовления к нему начались за шесть месяцев, и в последнюю неделю, когда Иордания поставила на ноги Совет Безопасности ООН, отменить его уже было поздно. Сказать же, что он был устроен в пику арабам, означает просто не понимать, что такое Иерусалим в еврейской истории — древней, сред-

невековой и новой: сердце нации, город-символ, город священный, а в настоящее время и город с преобладающим еврейским населением.

Конечно, отмена парада в столице Израиля под внешним давлением, чтобы не раздражать арабов, была бы делом унижительным и недостойным. На ста трибунах сидело шестьдесят тысяч человек. В город со всех концов страны стеклось шестьсот тысяч, и настоящая неразбериха началась при разъезде, когда не хватило транспорта, чтобы в один день разгрузить город, запруженный толпами. Как в старые времена, когда на праздник Пасхи даже из далекой Галилеи прибывали паломники и располагались табором на холмах вокруг Иерусалима, — уже за неделю до Дня независимости начали наплывать в город гости издалека, и, понятно, все в тот же день разъехаться не могли. Десятки тысяч провели ночь на улицах Иерусалима, и только к вечеру следующего дня город принял обычный вид.

Никаких инцидентов или актов саботажа, как опасались пугливые, не было. Население арабского города решило не выходить из домов... но тут "саботаж" был проявлен арабскими детьми, которые просто не могли усидеть дома и, когда появились в небе первые самолеты воздушного парада, высыпали на балконы и крыши, а за ними и взрослые.

Гвоздем парада были трофеи войны: дефилировали танки "Сталин", катюши, гаубицы, моторизованные орудия, ракеты — военная добыча, лицезрение которой, по крайней мере, автору этих строк не доставило никакого удовольствия. Народ Израиля предпочел бы, чтобы эти орудия геноцида никогда не оставляли границ Советского Союза... Дефилировали без конца на земле и в небе все роды оружия, и одно было ясно: если и не дождемся мы торжества справедливости и Царства Божия на земле в

наши дни, то и повторения гитлеровского геноцида на земле Израиля не будет.

1968 г.

ЧЕМ ЭТО КОНЧИТСЯ?

”Чем это кончится? Когда это кончится?” — не перестают спрашивать читатели, которые, наконец, начинают уяснять, что арабо-советская осада Израиля перерастает региональные границы и грозит втянуть Соединенные Штаты в столкновение более опасное, чем во Вьетнаме.

В Израиле произвело впечатление выступление президента Никсона по телевидению, когда он открыто назвал Египет и Сирию агрессивной стороной на Ближнем Востоке, а вмешательство Советского Союза — угрожающим глобальным интересам Соединенных Штатов. Это выступление было принято с осторожным оптимизмом и удовлетворением, которое относилось не столько к тому, что было сказано (ибо никто не сомневается, что суть происходящего на Ближнем Востоке и раньше была ясна правительству США), сколько к тому, что это было произнесено во всеуслышание, открыто и к сведению ненавистников Израиля: Соединенные Штаты в своих интересах не оставят Израиль безоружным, не допустят нарушения равновесия сил в этой части света.

Реакция арабской прессы была глумливой: ”Какое может быть равновесие сил, — писала каирская ”Эль-Ахбар”, — когда нас сто миллионов, а их — два!” С этой точки зрения трудно понять, как могут два миллиона сопротивляться ста миллионам, за которыми к тому же стоит великий Советский Союз с его сателлитами и подголосками.

И я действительно с моей тель-авивской вышки не вижу, чем и когда это кончится, и все, что я могу сказать моим читателям и корреспондентам, — это, что через год, в это самое время... Израиль по-прежнему будет стоять над Суэцким каналом, над Иорданом и на Голанской возвышенности против сирийцев с их танками и самолетами...

Понятно, что выступление президента Никсона было сделано с целью подкрепить позицию Роджерса в его переговорах с Советским Союзом. И автору этих строк понятно, что переговоры двух или четырех держав ни к чему не приведут, пока Сирия останется под властью непримиримых, а армии террористов на территориях арабских государств и под их прикрытием стоят на своем "все наше — Израиль не существует". Советский Союз с его советниками и летчиками, ракетами и орудиями дальнего прицела увяз в Египте, как тяжелый воз в сыпучих песках: ни туда ни сюда.

Никто не ждет от американцев невозможного. Здесь принимают к сведению, что, согласно недавней анкете, произведенной для государственного департамента, более семидесяти процентов опрошенных американцев высказались против интервенции США на Ближнем Востоке, даже если бы Израиль подвергся советскому нападению. Но воевать за Израиль не надо — это не Вьетнам. Он нуждается не в американских солдатах и советниках, а в необходимом оружии и в том политическом давлении, которое требуется, чтобы побудить фаворитов Москвы кончить войну мирным договором и признанием суверенности Израйля в возможных для обороны границах.

Иллюзия, что можно раздавить и снести с лица земли государство евреев, потому что их только два миллиона против ста, — рассеется со временем. Израиль научит своих врагов уважать его право на жизнь и во-

лю к жизни. В этом, а не в тех или иных территориях, заключается главная проблема и трудность.

Теперь на экранах телевизоров и страницах иллюстрированных журналов Запада стали появляться лидеры палестинского терроризма: примитивный Арафат, темный Абу-Амар, "революционный" садист с докторским титулом Жорж Хабаш. Стоит к ним присмотреться. Это арабские наци. Их "Палестина" может быть, может и не быть — это внутреннее дело арабов. По убеждению не только автора этих строк, но и решающего большинства израильских граждан, евреи не должны и не могут управлять арабами. Но никакой "арабской Палестины" не будет на территории Государства Израиль — ни в Тель-Авиве, ни в Иерусалиме и нигде в пределах национальной израильской территории.

Проблема Израиля — проблема уважения. Этого уважения не заслужил Израиль у ста миллионов арабов ни своей древней религией, вдохновившей Коран, ни своим вкладом в культуру человечества, ни своим национальным движением. Спиноза и Эйнштейн, Герцль и кибуцник им не импонируют! Уважению их научит солдат на фронте, даже если для этого понадобится больше чем четыре года.

1970 г.

В ТРЕТЬЕМ ДЕСЯТИЛЕТИИ

Пройдут века, и эти первые два с половиной десятилетия со всем упорством веры и борьбы, которые им предшествовали, со всем их драматическим напряжением, подымутся в исторической перспективе на головокружительную высоту. Потомки по праву увидят в них самое значительное событие трехтысячелетней еврейской истории — выше полусказочных

деяний древних царей, выше подвига Эзры и Нехемии, восстановителей разрушенного Храма, приведших на родину десятки тысяч евреев из кратковременного вавилонского изгнания, выше восстания Маккавеев.

Прожитые нами годы представляют собой политически и морально взлет всей еврейской истории. Сравнить их можно только с тем чудом Исхода из Египта и Откровения в пустыне, которые когда-то положили начало историческому существованию еврейского народа.

Но каким бы ореолом ни окружили будущие поколения имена зачинателей нового периода еврейской истории, — для современников и участников эти годы представляются весьма прозаически и буднично, не как исторический праздник и привилегия, данная нашему поколению, а как отрезок пыльной и трудной дороги.

Высокий пафос и быт вообще несовместимы. Разница между действительными стремлениями и мотивами отдельных людей и тем, что в конце концов создается их совместными усилиями, так велика, что можно сказать: люди создают историю не больше, чем самое время, в котором живут. Историческое время (эпоха, век, период) складывается, как мозаика, из бесчисленных событий, а так называемое историческое сознание состоит именно в преодолении своей ограниченности текущим днем, в мгновенном постижении своего тождества с огромным историческим целым, которое совершается через тебя, в тебе и благодаря тебе.

Это историческое озарение, изумление при виде высоты, на которую нас вынесло время, испытывалось всеми в ту памятную тель-авивскую ночь на 30 ноября 1947 года, когда до рассвета бушевало человеческое море на улицах и площадях, ревели мегафоны, передавая о принятой Объединенными

Нациями резолюции, люди пели, бесновались... "Томми" на английском танке, увязшем в толпе, высунувшись из башенки, улыбался и махал рукой, захлестнутый этим взрывом ликования. Радость заразительна, одно только зрелище ее очищает душу от сомнений и враждебности... Резолюция ООН не создала еврейского государства! Государства, как и народы, не создаются резолюциями. Она только санкционировала борьбу за него — и ту, которая велась раньше, и ту, которая предстояла. Ночь на 15 мая 1948 года, последовавшая за Декларацией независимости, снова вызвала на улицу толпы и сопровождалась ошеломительным сознанием: мечта поколений претворилась в жизнь, создано первое с библейских времен независимое еврейское государство и правительство на родной земле! Все равно, как бы ни развернулись события (чего никто тогда не мог предвидеть), уже это одно, само по себе, было величайшей победой.

Потом наступили воздушные налеты, кровь, первая освободительная война, затем Синайская кампания и, наконец, Шестидневная война, когда враг хотел удушить народ Израиля и, по его словам, сбросить его в море. Казалось невероятным: после избиения шести миллионов в Европе кому еще была нужна наша кровь?

В историю войдет потрясающий размах обороны. В открытые шлюзы страны хлынул поток — более миллиона иммигрантов за первые два десятилетия. Войдет в историю ночь, когда на высоком помосте стоял гроб Герцля в Тель-Авиве на берегу моря, освещенный пылающими факелами, и без конца дефилировали мимо люди. И полуголод первых лет. И рост, рост, упрямый рост: сто, триста, пятьсот, шестьсот, восемьсот новых деревень, городов, новые отрасли промышленности, поля, дороги, каналы, леса, плантации, сталь, нефть и машины. Главное

сделано, заложен прочный фундамент, остальное будет уже не так трудно — вопреки ненависти и цинизму открытых врагов и скрытых предателей. То, что сделано, не нуждается в оправдании.

Возрождение еврейского народа замыкает позорную и страшную страницу в истории европейских народов, кладет конец тому, что в наши дни Арнольд Тойнби осмелился назвать "безысходной трагедией, конца которой не видно". Исход найден, а если конца еще нет, то он уже обозначается на горизонте. Израиль родился в атмосфере преступления и злобы, которые сопровождали его все две тысячи лет блужданий по свету. Все могло быть иначе, и не было бы нужды ни в гетто и газовых камерах Гитлера, ни в злодействах, которыми реагировали тупоголовые и мрачные фанатики арабской политики на возрождение Израиля. Это возрождение ни на чьей кривде не строилось и не строится. Никогда не устанем повторять и напоминать, что росткам новой жизни на исторической родине евреев противились британские Понтии Пилаты, и под конец — политические бизнесмены из арабов, которым не терпелось нажать любой ценой и которые рассматривали палестинские волости как свою наследственную вотчину во веки веков.

Не мог видеть врага в еврейском возрождении арабский крестьянин, которому ничем не угрожала еврейская инициатива в стране. Наоборот, ему она служила примером, давала заработок, ничего у него не отняла и все обещала. Нет никаких разумных оснований для распри между Израилем и арабским населением страны. И то, что начало нарастать в двадцатые и тридцатые годы по наущению Гитлера, в сороковые — по грехам Запада, а в наше время — с помощью политических поджигателей, надо назвать настоящим именем — преступление!

Люди, разрушившие мир, залившие страну кровью, разжегшие фанатическую ненависть в примитивных массах, — преступники не только против сотен тысяч арабских беженцев, которых они сняли с мест в 1948 году, но прежде всего — преступники против чести и морали в международном масштабе. Возрождение Израиля могло стать прекраснейшим зрелищем XX века, торжеством справедливости, искуплением мрачного прошлого. Вместо этого оно совершилось и совершается под аккомпанемент адского скрежета, вакханалии злых сил.

Израиль находится в смертельной схватке с арабским и международным чудовищем, которое можно называть как угодно, но оно есть не что иное, как давно знакомое сочетание звериных черт черного и красного юдофобства. Израилю объявлена война с целью его истребления.

Будущее Израиля связано с основной проблемой жизни всего западного человечества: жить ему в правде или в грехе и унижении. Перед всеми народами стоит эта проблема как выбор между свободой и рабством, для Израиля же — еще радикальнее: это вопрос жизни и смерти. Проблема, перед которой Израиль ставит мир, и не первый раз, — это проблема соотношения морали и политики. Еще обнаженнее: духа и материалистического культа силы.

По логике и вере идеологов хищной силы еврейскому народу не полагается жить. Он должен умереть, чтобы не мешать торжеству силы над правом и материи над духом.

И нет иной возможности самообороны для Израиля, нет иного пути к примирению с миром, как непрерывный творческий рост и расцвет, создание новых ценностей, наглядное доказательство права на жизнь несомненными достижениями в каждой области общей для всех культуры.

Более двух с половиной миллионов евреев Израиля находятся под ударом. Превосходство силы — на стороне их противников. В этой обстановке Израиль, не полагаясь на "консультации" великих держав, из которых некоторые считают существование Израиля на географической карте совершенно излишним, мешающим их политическим расчетам, проявляет поистине сверхчеловеческое упорство.

В борьбе за мир позиция израильского правительства остается неизменной: готовность к мирным переговорам без всяких предварительных условий — и никаких уступок без мирного договора. Еще долг и труден предстоящий Израилю путь. Но и то, чего Израиль достиг за первые двадцать три года своей политической независимости, граничит с чудом. И это — праздник для всех одаренных хотя бы малой искрой понимания исторической драмы человечества, где бы они ни находились.

1970 г.

ДЕЛО БЕРГЕРА

1

С осени 1939 до лета 1946 года, без малого 7 лет, прожил я в Советском Союзе.

Первый год — на территории оккупированной Польши. Там я был свидетелем советизации завоеванной страны. Я видел, как делается "плебисцит", как население приводится в состояние "энтузиазма" и "советского патриотизма".

Следующие пять лет я провел на советской каторге, в так называемых "исправительно-трудовых лагерях". Там я понял секрет устойчивости и силы советского строя.

Последний год, как вольный и легализованный советский гражданин, я провел в маленьком городке Алтайского края, принимая участие в серой повседневной трудовой жизни советских людей.

Думаю, что имею право говорить и судить об этой стране. Толстой сказал, что "не знает, что такое государство тот, кто не сидел в тюрьме". Этот анархистский афоризм во всяком случае справедлив по отношению к Советскому Союзу.

До осени 1939 года я занимал по отношению к СССР позицию "благожелательного нейтралитета". Это характерная позиция прогрессивной и радикальной европейской интеллигенции.

"Конечно, — говоришь себе, — для нас в Европе это не годится. Но все же это строй, который, по-видимому, соответствует желаниям русского народа. Их дело, их добрая воля. Для нас, европейцев, он имеет цену великого социального эксперимента, и мы все можем учиться у Советского Союза многим важным вопросам. Например, планирование хозяйства. Например, новое лицо женщины. Пусть их живут, пусть работают на здоровье. Пожелаем им успеха".

Это была моя позиция до 1939 года. Читая предвоенную эмигрантскую русскую прессу, я не мог отделаться от неприятного чувства и благословлял судьбу, что я свободен от узости и мелочных придирок и могу относиться к советской действительности с должной объективностью. Резкие антисоветские выступления вызывали во мне брезгливость. В моей книге "Идея сионизма", вышедшей перед войной, нет и следа враждебности к Советскому Союзу.

Прожитые тяжелые годы не отразились на объективности моей мысли. Я перестал бы быть самим собой, если бы потерял способность спокойно и всесторонне анализировать факты, учитывая все про и контра. Бесплезно говорить мне о достижениях и заслугах Советского Союза. Я знаю все, что может быть сказано в его пользу.

Семь минувших лет сделали из меня убежденного и страстного врага советского строя. Я ненавижу этот строй всеми силами своего сердца и всей энергией своей мысли. Все, что я видел там, наполнило меня ужасом и отвращением на всю жизнь. Каждый, кто был там и видел то, что я видел, поймет меня. Я считаю, что борьба с рабовладельческим, террористическим и

бесчеловечным режимом, который там существует, составляет первую обязанность каждого честного человека во всем мире. Терпимость или поддержка этого мирового позора людьми, которые сами находятся по другую сторону советской границы, в нормальных европейских условиях, — недопустима. И я счастлив, что нахожусь в условиях, когда могу без страха и открыто сказать все, что знаю и думаю об этом режиме.

Я пишу эти строки на палубе корабля, который несет меня к берегам отчизны. Мое возвращение к жизни — чудо, настоящее воскресение из мертвых. О чем может думать человек, вышедший из гроба, из преисподней? Синева Средиземного моря, яркий блеск солнца опьяняют меня, наполняют невыразимым счастьем. Следовало бы сосредоточиться, вернуться мыслью в прошлое и попытаться начать серьезный и систематический рассказ о прошлом. Но эта задача требует слишком много времени. Для того, чтобы собрать в одно целое, оформить опыт этих лет, нужны долгие годы. А время не ждет. Есть вещи, которые должны быть сказаны немедленно, не откладывая ни на минуту. Я не могу позволить себе отложить их — не смею: это было бы преступлением по отношению к тем, кто говорит через меня, кто кричит через меня смертным криком отчаяния.

Я знаю, мои силы слишком слабы для этой задачи. Чтобы писать про советский ад, нужна сила Данте и Достоевского в соединении с диккенсовским реализмом. Но судьба вложила в мои руки перо, и я до тех пор не положу его, пока не исчерпаю всего, что имею сказать. Литературных амбиций у меня нет. Мое дело — сказать правду, которую столько людей не смеют, не хотят, не умеют или просто боятся сказать. И я пишу с чувством человека, которому остался только один день жизни — и в этот день ему надо успеть сказать са-

мое неотложное, самое важное! — и как можно скорее, потому что завтра уже может быть поздно.

2

В лагерях Советского Союза погибают миллионы людей.

Россия разделена на две части.

Одна — ”на воле” — доступная лицезрению иностранцев, поскольку им вообще разрешают ездить по стране с показными секторами, с московским метро, с блестящими фасадами и грязными дворами, которые все же в принципе доступны для случайных посетителей.

Другая Россия — Россия № 2, за колючей проволокой — это тысячи, бесконечные тысячи лагерей, мест принудительного труда, где живут миллионы заключенных.

Лишенные гражданства, эти люди исключены из советского общества и являются в точном смысле этого слова государственными рабами. По отбытии срока до десяти лет (за последнее время введена категория каторжан со сроками в пятнадцать и двадцать лет) людей сплошь и рядом переводят на положение ссыльно-поселенцев, не позволяя вернуться домой и часто оставляя на том же месте, где они отбывали наказание. Миллионами рабов колонизируют далекие окраины советского севера. Но вообще нет в огромной стране такого угла, где бы среди городов и селений нормального типа не находились огражденные высоким частоколом лагеря с их характерными вышками по четырем углам — для часовых.

Это — Россия номер два, огромная помойная яма, гигантская свалка, куда выбрасываются, по приказу свыше, целые группы и слои населения. Эта невидимая Россия — настоящая преисподняя, выдумка дьявола,

организованная по последнему слову полицейской техники. Трудно сказать, сколько людей находится там. Самые фантастические цифры назывались мне заключенными. Думаю, что в определенные годы там бывало десять-пятнадцать миллионов. За годы войны вымерла значительная часть. Теперь туда направляются новые полчища. Писать о них или громко говорить — нельзя. Советская литература стыдливо молчит о них. Иностранные журналисты в свое время находили доступ даже в гитлеровские кацеты, но в советские не был допущен никогда никто — и журналисты, свои или чужие, никогда не бывали в них иначе, как на положении заключенных. И этим объясняется, что вплоть до войны общественное мнение ничего, ровным счетом ничего определенного не знало о них. Ужас и тайна, которыми окружены лагеря в самом Советском Союзе, — неопишуты. Как в сказке о бабе-яге — люди, с которыми вы сегодня разговариваете, завтра исчезают. Баба-яга их съела. Больше не следует ими интересоваться. Если они вам напишут, не ищите в их письме ничего, что бы вам дало представление об их жизни. Там будет просьба о посылке и уверение, что здоровы. Эти люди вычеркнуты из книги жизни, жены их возьмут развод, а дети, если они комсомольцы, не напишут ни слова.

Советская страна — единственная в мире, где люди живут под вечной угрозой, как под дулом наведенного револьвера. В одних только лагерях ББК (Беломорско-Балтийского канала), где я провел свой первый каторжный год, было около полумиллиона человек, и пятьдесят тысяч поляков, которые были туда присланы, без труда растворились в общей массе. Вся Россия, как чудовищной сыпью, покрыта лагерями, и безмерный цинизм власти, прекрасно знающей, что она творит, выражается в том, что эти лагеря герметически и наглухо закрыты для посетителей из Европы.

И это давало возможность продажным мерзавцам

из советской культурной элиты до войны отрицать само существование этой невероятной, не имеющей прецедента в мировой истории, системы. Я, прошедший сквозь строй советских лагерей, по своему освобождению держал в руках официальный курс "Политической экономии" — коллективный труд, изданный в Москве под редакцией профессора Митина, в которой один из мерзавцев с профессорским званием назвал утверждение о наличии рабского труда в СССР "буржуазной клеветой".

Сказать, что все эти миллионы заключенных провинились перед советской властью, было бы дикостью. Какими преступниками были те полмиллиона поляков (в большинстве польских евреев), которых послали в лагеря летом 1940 года? Режим, который для своего укрепления и спокойствия не задумывается в качестве постоянной меры держать в состоянии рабства миллионы своих граждан, который беспрерывно вырезает куски мяса из живого организма несчастнейшего в мире народа, который беспрерывно просеивает население через дырявое сито НКВД, без суда и без толку, без жалости, со всем бездушным изуверством темных и запуганных людей (потому что аппарат НКВД на местах в свою очередь действует под террором и страхом) — такой режим является самым чудовищным явлением, какое только знает наша современность.

Этим господам везет, потому что в данный момент внимание всего мира отвлечено раскрывшейся картиной гитлеровских зверств. По сравнению с фабриками смерти в Освенциме и Майданеке, понятно, советские лагеря могут сойти за высшее проявление гуманности. Людей посылали туда не на смерть, а на работы, и если они умирали массово, то это всегда признавалось нежелательной утечкой рабочей силы. Евреи, которые прошли ужасы польского гетто, справедливо считают нас, советских заключенных, счастливыми!

Но что сказать о людях, которые хотели бы видеть оправдание советской системы в том, что у Гитлера было еще хуже? Этим людям надо напомнить, что гитлеризм уничтожен, а советские лагеря продолжают существовать. Нет больше гетто и крематориев, а те лагеря, где я оставил лучшие годы своей жизни, по-прежнему забиты народом, и на тех самых нарах, где я лежал, остался лежать мой товарищ. За время моего существования советские лагеря поглотили больше жертв, чем все гитлеровские и негитлеровские лагеря, взятые вместе, и эта машина смерти продолжает работать полным ходом.

Людей, которые в ответ на это пожимают плечами и отговариваются ничего не значащими словами, я считаю моральными соучастниками преступления и пособниками бандитов.

3

Эти несколько слов о России номер два, о России за колючей проволокой — вступление. О лагерях надо писать отдельно. Здесь я хочу сказать о том, что мне представляется в данный момент самым важным и неотложным. Это то, что я называю Делом Бергера.

Еврейский народ, еврейское национальное движение не может вести борьбу с режимом советского террора. Не в нашей власти разрушить тысячи мрачных гнезд, рассадников гнета и разврата. Это может сделать только сам русский народ, в будущее которого я верю. Но есть одно, что касается нас непосредственно, есть нечто, что лежит на нашей ответственности и на нашей совести как камень: это вопрос о наших братьях, которые попали в волчью яму и не могут выбраться оттуда. Никто им не поможет, кроме нас. А им мы обязаны помочь.

В советских лагерях, тюрьмах и ссылках вымерло

целое поколение сионистов. Мы никогда не умели прийти им на помощь, и не только потому, что это было трудно, а прежде всего потому, что мы потеряли с ними всякий душевный и сердечный контакт. Мы ими не интересовались. Я не помню за все предвоенные годы ни статей на эту тему, ни малейшей попытки мобилизовать общественное мнение и добиться облегчения их участи. В этом проявилась та преступная пассивность и оцепенение, которые потом так страшно выявились, когда задымили печи Освенцима и польское еврейство погнали на смерть, а мировые центры еврейских организаций "не знали", "не верили" и потому не сделали даже того, что можно было сделать.

Одним из моих потрясающих переживаний в советском "подземном царстве" была встреча с людьми, которых похоронили заживо не за что иное, как за сионизм в их молодости. Теперь передо мной стояли старые, сломленные люди, без надежды и веры. Они просили меня передать поклон родному народу и родной стране, как святым призракам, которые уже никогда не станут для них действительностью. И еще они просили меня, они — люди с большими заслугами, люди, которых должны еще помнить их товарищи в нашей стране, — просили о том, чтобы я не называл в печати их имен, потому что это может иметь роковые последствия для них и их детей, для их семей, живущих на воле — на советской "воле". Я молчу. Но есть имена, которые я назову без колебаний, потому что они являются общим достоянием, и не мне, а другим давно уже следовало поставить о них вопрос.

В Советской России внезапно "исчез" Моше Кульбак, еврейский поэт блестящего таланта, украшение нашей литературы. Кульбак не был сионистом. Он был другом Советского Союза и поехал туда, чтобы жить и работать на "родине всех трудящихся". Там он написал две значительные вещи: повесть "Мошиах бен Эф-

раим” и роман ”Зелменианер”. Кульбак имел о коммунизме то же представление, что и другие наши наивные дурачки, живущие в мире восторженной фантазии. Но он имел неосторожность поселиться не в Париже, а в Москве. Теперь его имя внесено в индекс, его произведения изъяты, а он сам ”пропал без вести”, то есть в одном из лагерей ведет существование рабочей скотины.

Я думаю, что самое тяжелое и страшное во всем этом — абсолютное равнодушие еврейского народа, для которого жил и писал этот человек. Кто интересуется его судьбой? Понимает ли еврейская общественность, еврейская литературная среда свой долг по отношению к этому человеку? Представим себе, что таким образом ликвидировали бы в Советском Союзе какого-нибудь видного французского поэта. Какую бурю это вызвало бы во Франции, во всем мире! Но мы молчим, тогда как трагедия Кульбака, у которого вырвали перо из рук в расцвете его творческих лет, это не только позор человечества, это наша трагедия в первую очередь.

Каждый литовский еврей и каждый сионист знает имя доктора Беньямина Бергера, до войны председателя сионистской организации в Литве.

Я склоняю свою голову перед этим человеком, который спас мне жизнь, вырвал из когтей самой подлой и унижительной смерти — от голодного истощения. В котласском лагере, где мы встретились, он медленно и терпеливо поставил меня на ноги в буквальном смысле этого слова. Я не знаю людей прекраснее, благороднее и чище этого человека. На его серебряных сединах, в утомленных глазах этого много видевшего человека — Шехина, благодать Божья, печать высокой человечности. Вся жизнь доктора Бергера, а ему уже 66 лет, полна чистого служения людям, науке, своему народу. Нет в мире никого, кому бы д-р Бергер причи-

нил.зло. Зато много людей обязаны ему жизнью, такие, как и я. Доктор Бергер не пропустил ни одной возможности помочь страдающему, и на каторге, куда забросила его судьба, он остается живым центром тепла и ласки, внимания, моральной поддержки и отцовской заботы для всех несчастных, униженных и раздавленных людей, которые вот уже шесть лет составляют его единственное окружение.

Есть что-то дикое и противоестественное в том, что люди, подобные Бергеру, то есть очевидные праведники, герои деятельного человеколюбия, квалифицируются в советской стране как антисоциальный элемент, как преступники. Бенъямин Бергер был по занятии Литвы в 1941 году арестован и вывезен. За принадлежность к такой грозной контрреволюционной организации, как сионисты группа "В", он получил десять лет. Для человека с его здоровьем (тяжелая сердечная болезнь) это равно смертельному приговору.

Перед кем провинился доктор Бергер? Перед русским народом? Перед литовским рабочим классом? То, что происходит с ним, — это прежде всего бессмыслица. Человек гибнет ни за что.

А надо ли объяснять, что он не один, и не в нем одном дело? Мои друзья, сионисты, люди чистые, как кристалл, крепкие, как сталь, во цвете лет и сил вырваны из жизни, как цветы из земли. Их молодые годы пожирает злой рок — жизнь их уходит безвозвратно. Где-то плачут по ним матери, жены, дети. Так плакали и по мне мои близкие, не зная, где я, не имея сил помочь мне. Дело Бергера — это дело всех наших людей, евреев, которые отдали свои жизни сионизму и, живя в Польше, Прибалтике, до войны ничего общего не имели с Советским Союзом. Теперь они рассматриваются как "советские граждане", и советская страна не находит для них другого применения, как обращение в рабство.

Дело не в Бергере и его товарищах. Подумаем: дело в нас самих.

Горе обществу, которое теряет способность живо и сильно реагировать на вопиющую несправедливость и бороться со злом. Такое общество — моральный труп, а где появляются первые признаки морального разложения, там и политический упадок не заставит себя долго ждать.

Помочь Бергеру — значит помочь самим себе.

Чего мы, сионисты, боимся? Или у нас есть более важные дела, чем судьба наших товарищей и достоинство сионизма?

Открытым и смелым выступлением мы не повредим своим товарищам, напротив. Ухудшить их положение уже ничем нельзя. Но если советская власть будет знать, что на судьбу этих людей обращено внимание всего мира, — она примет меры хотя бы к тому, чтобы они содержались в менее ужасных условиях.

1947 г.

ПОЧЕМУ?

(Идея терпимости — нетерпимая идея)

В середине сентября собралась в Андло, эльзасской деревне в окрестностях Страсбурга, группа из тринадцати человек, в состав которой входили представители семи национальностей. Было там три философа, три социолога, три политических писателя, физик, химик, историк искусства и поэт.

Люди эти в течение пяти дней дебатировали на тему: "Что приводит интеллигенцию Запада к коммунизму?"

В ожидании, пока отчет о встрече в Андло будет предложен в форме брошюры или книги, я хочу сформулировать выводы, к которым меня привела дискуссия, — то, что мне кажется наиболее важным при обсуждении вопроса, где так легко потеряться в деталях.

Если бы было верно, что тяготение к сталинизму в кругах интеллигенции на Западе — болезнь, то было бы логично выяснить причины болезни, чтобы установить меры профилактики и лечения. Однако по мере того как число причин и мотивов, которые обуславливают данное общественное явление, растет и исчисляется десятками, невольно возникает подозрение, что дело не

в них, что не ими объясняется явление, а, наоборот, они сами вытекают из данного явления, как следствие и вторичный эффект.

Активный коммунизм или прокоммунизм прежде всего не болезнь. Даже о гитлеризме, который имел все черты массового безумия, охватившего старый культурный народ в центре Европы, нельзя сказать, что это было "душевное заболевание". Народ, который передал всю ответственность за свою судьбу Гитлеру, как и советский народ в наше время, как миллионы образованных и необразованных последователей и защитников сталинизма во всем мире, — отличаются большой живучестью, иногда образцовой ясностью воли и мысли. Нет никакого смысла говорить в данном случае о "болезни". Но можно говорить об извращенности своего рода.

Разница очевидна. Никто не хочет быть больным, никто не соглашается на чахотку или тиф, тогда как перверсия, извращенность в корне своем — добровольна. Это такое отклонение от нормального состояния, которое индивидум "принимает", не считаясь с биологическими или социальными последствиями. Перверсия может принять болезненную форму, но это отнюдь не обязательно. Нельзя подводить под это понятие сотни миллионов несчастных и невежественных людей, угнетенных диктатурой по ту сторону железного занавеса, ибо это только жертвы тоталитарного насилия. С другой стороны, далеки от перверсии карьеристы, негодяи, люди, служащие сталинизму ради очевидной личной выгоды. Но есть определенная группа, по отношению к которой понятие массовой социальной перверсии вполне приложимо: это та западная интеллигенция, которая, вырастая на почве европейской культуры, религиозной или гуманистической, приходит к партийному сталинизму или к той форме благожелательного

”нейтралитета”, которая на Западе более опасна, чем открытый сталинизм.

Не слишком ли резко говорить в данном случае о перверсии? Подумаем. Человек, который во имя свободы, демократии, христианской любви к ближнему или интернациональной солидарности поддерживает однопартийный режим, систему концентрационных лагерей и удушения независимой мысли методами полицейской диктатуры, — такой человек страдает формой извращения или, вернее, он ею наслаждается.

Жуткий контраст цели и средств на определенной степени несовместим с душевным здоровьем. Оправдание позорных и отвратительных явлений ссылкой на великие цели уже само по себе извращенность, перверсия. Понятно, что, когда перверсия касается интеллектуалов, они находят рациональную мотивацию. Изобретательность в этом случае безгранична.

На семинаре в Англо, где под председательством профессора Дени де Ружмона собрались люди весьма искушенные в сталинизме, были указаны следующие ”мотивы”:

1. Вера в марксизм, как последнее слово научной мысли.
2. Идеализация советской действительности.
3. Потребность абсолютной истины, тотального ключа ко всем загадкам и трудностям.
4. Желание быть с ”авангардом”.
5. Желание быть ”с массами”.
6. Политическая девственность компартии, которая на Западе еще не была у власти.
7. Протест против социального зла на Западе.
8. Желание служить ”делу мира”.
9. Обаяние русской культуры.
10. Якобинская традиция во Франции.
11. Влияние духа авторитарного капитализма в Италии.

12. Аполитизм, желание быть в стороне от мировых политических конфликтов в Германии.

13. Моральный престиж победителей фашизма.

Список этих причин может быть продолжен. Одно ясно: приведенные мотивы сами нуждаются в объяснении, почему именно марксизм принимают как новое откровение абсолютной истины? Почему идеализируют советскую действительность? Почему принимают всерьез советские лозунги мира? Почему видят зло на Западе и упорно отказываются видеть гораздо большее зло в Советском Союзе? Почему из потребности в абсолютной истине и безусловном авторитете приходят к сталинизму, а не, например, к католицизму?... О большей части этих мотивов можно сказать, что они в лучшем случае характеризуют душевный статус поклонников и попутчиков сталинизма, то есть ту псевдомотивацию, которую они сами себе подбирают и которая не выясняет, а обходит существо дела. Люди, которые ставят Трумэна в один ряд с Гитлером и принимают методы коммунизма из страха или ненависти к методам фашизма, очевидно, сами себя обманывают и скрывают от себя действительные мотивы своего поведения. Сознание их напоминает вешалку, завешанную кучей пестрых тряпок: надо все снять, чтобы увидеть простой железный гвоздь, на который они навешаны. Пока гвоздь не обнаружен, напрасно манипулировать с тряпками, ворошить их, объяснять, что им здесь не место. Человек, обращенный к сталинизму, всегда найдет себе то или иное псевдорациональное обоснование своей симпатии. Если мы сорвем с гвоздей одну тряпку, он вместо нее повесит другую...

В моей стране — в Израиле — не существуют многие причины, которые действуют в пользу коммунизма во Франции или Италии: нет ни экономического застоя, ни специфического кризиса капитализма, и коммунисты в прошлом не участвовали в борьбе с оккупантами и не

боролись за национальное освобождение. Сталинизм по ту сторону железного занавеса зверски преследует еврейское национальное движение и национальный язык. И, однако, это нисколько не мешает тому, что симпатия к сталинизму существует и находит себе другие "рациональные" доводы. Напрасно мы будем убеждать вождей, что их политический расчет на победу Советского Союза нереален; напрасно мы будем объяснять массам, что в советском строе их ждет закрепощение, а не освобождение: в определенном пункте мы наталкиваемся на иррациональное сопротивление. Налицо не дефект понимания или знания, а добровольное, соответствующее глубокой внутренней склонности, душевное искривление.

Надо, в частности, протестовать против одного распространенного мнения: что в приятии сталинизма или в конформизме по отношению к нему играет роль то, что называют во Франции "гошизмом" (левизной) или что Раймон Арон назвал революционным рационализмом. Не будем переоценивать доброй воли и "чистой совести" конформистов! Позиция просвещенных и высокообразованных представителей западной интеллигенции, которые, зная о существовании советских лагерей и не идеализируя советской действительности, все же отказываются выступить против сталинизма, ничем не отличается от позиции тех господ, которые в свое время с сожалением говорили о "некоторой жесткости" нацизма по отношению к евреям, что не мешало им, в общем, относиться к нацизму положительно и даже с энтузиазмом. Люди, которых "гошизм", то есть вера в освободительную миссию пролетариата, и резкая оппозиция ко всем формам подавления человеческого достоинства привели в ряды сталинизма или в непосредственную близость к нему, эти люди уже в тридцатые годы начали массовый отход

от своих позиций. А те, кто остался, — это конформисты. Люди "нейтральные" перед лицом советской системы заслуживают такого же глубокого презрения, как и те, кто в свое время считали возможным нейтралитет или терпимость по отношению к Освенциму, Трешлинке и Бухенвальду. Соображения, которыми такие люди прикрывают свой конформизм, настолько не выдерживают критики, что было бы наивно подозревать этих высокоученых и всеведущих интеллигентов в такой невероятной мере глупости или неспособности к критике. Нет, в сознании этих людей или в их подсознании происходит глубокий процесс перерождения "левой идеологии", дегенерации основных понятий и ценностей в нечто такое, что отдает бойней и гнилью лагерного барака. Если мы хотим понять сущность западных симпатий к системе, уничтожающей основные ценности Запада, не надо бояться слова "перверсия".

Симпатии к сталинизму вытекают из процесса внутреннего гниения и разложения, который начался и, может быть, всегда в известной мере проходил внутри европейской культуры. Когда Раймон Арон в результате своего анализа приходит к заключению, что главным образом интеллигентов притягивает к сталинизму "философия" (идеологический момент), то надо отдать себе отчет, что не рационализм и не научные качества "диамата" влияют на благочестивых христиан и парижских литераторов. Рациональная критика "диамата" и просоветской идеологии необходима ради тех наивных, кого она может искусить. Но эта критика не будет полной, пока мы не доберемся до источника глубокой идейной перверсии, извращения духа. Сталинизм притягивает тайных развратников духа. В наше время нет ничего более омерзительного, чем заявления о советском миролюбии, свободе и "прогрессивнос-

ти” перед лицом тысяч, ежедневно умирающих в лагерях, и согласие с режимом, который держится на сознательной лжи. Перверсия заключается в том, чтобы не просто подавить свободу, как это делалось в прежние века, а профанировать и растлевать. В этом находят особый вкус европейские сладострастники, которые ”играют” в соединение высоких идеалов с концентрационными лагерями и находят особую ”дрожь” и ”ощущение” в синтезе полицейской диктатуры с ”прогрессивностью”. Люди, которые идут по этому пути, недостойны уважения. Скорее надо задуматься над тем, что нас, людей относительно здоровых, заставляет относиться с интересом к этим господам и расточать комплименты их ”либерализму” и ”гуманизму”.

Вся эта дискуссия о симпатиях к коммунизму напоминает другую тягостную дискуссию — о причинах антисемитизма. Каких только причин не находили мудрые искатели? Десятки причин антисемитизма, которые часто исключали одна другую, заключали в себе мотивации психологические, идейные, расовые, социальные, политические, религиозные... Увы, никакое изучение, никакая контрпропаганда ”общественной борьбы с антисемитизмом” не могли помешать росту и распространению этого явления. Наблюдатели рано отметили, что, когда отсутствовала одна ”причина”, немедленно изобреталась другая... Пока не явился сионизм и не разрубил гордые узел, изъяс в вопрос из области психологических мотивировок. Истина, найденная сионистами, заключается в том, что евреи составляют меньшинство среди чужих, а антисемитизм представляет неизбежную (в данных условиях) реакцию большинства на инородное тело... В еврейском государстве нет антисемитизма. Попробуем применить тот же метод к решению вопроса о западном прокоммунизме.

То, что объективно делает возможной перверсию защитников сталинизма, — это политическое ослабление Европы, которое способствует размножению отчаянных и упадочнических настроений, а, с другой стороны, это факт образования за пределами Западной Европы колоссальной силы импонирует массам и интеллигенции своей динамикой. Сталинизм атакующий, завоевывающий и побеждающий, мощный и дисциплинирующий массы, магнетически притягивает людей, которые готовы ему приписать все воображаемые достоинства. Эти господа, которые приезжают из Москвы, восхищенные размахом строительства, успехами советской медицины и науки, не так глупы или наивны, как кажется. Излишне объяснять им действительную функцию и положение науки в тисках советского режима... Они совсем не так любопытны. Им нравится советское гостеприимство... Каждая торжествующая сила находит своих коллаборационистов. Есть оттенки коллаборационизма: от вступления в партию до полупризнания, от тонкой лесты и хвалы "либеральных" европейцев до "нейтралитета", который исключает активное сопротивление злу.

Кое-кому покажется грубым такое объяснение, при котором благородство, идейность и высокие побуждения "честных" попутчиков и нейтраллистов признаются лишь простым придатком их "курсу на победителя". Ведь многие из них — заслуженные люди, с большим общественным и культурным весом. И почти нет сомнения, что они сохранили бы свое отношение к коммунизму, даже если бы он был загнан в подполье, изгнан из Европы, разбит на поле сражения.

Мы не смеем оскорблять этих "идеалистов" сравнением с авангардом нацизма, который тоже умел приносить героические жертвы. Скажем лишь, что

коммунизм, лишенный атрибутов власти, зверской диктатуры и колючей проволоки лагерей — это не коммунизм. Непорочная свежесть юности не оправдывает эволюции душ, которые в короткий срок научились уважать определенный политический режим издали, не испытывая никакого желания ближе узнать быт советской провинции и тайны советской административной техники. Циничен инфантилизм людей, которые давно вышли из детства, но, как дети, еще продолжают обожать "отца народов" и называть "матерью" страну с тысячами лагерей. И если они даже не находят в своем дряблом сердце искры возмущения против этого позора, — их инфантилизм нас обмануть не может. Цинизм просоветской ориентации становится не меньше, а больше, когда он принимает видимость "антикапитализма" или "гуманизма", ибо в этом случае он прибавляет к оправданию тоталитарного насилия профанацию кумира свободы.

Люди, проповедующие моральное и военное разоружение перед лицом государства, которое в тысячах лагерей в глубине необъятной страны окружает себя глубокой тайной и недоступно контролю, эти люди, очевидно, готовят поражение Запада. И альтернативой третьей мировой войне является не "мирный захват" коммунизмом Западной Европы с помощью тихого проникновения и разрушения нравственных устоев и материальных ресурсов Запада. Альтернативой станет холодное и беспощадное сопротивление всем факторам, действующим на Западе в пользу коммунизма. То, что делается в данный момент, не составляет ничтожной части того, что должно быть сделано. Надо стремиться к ликвидации на Западе привилегий сталинизму, к созданию на Западе для служителей тоталитарного режима тех самых условий, которые введены для западной прессы, литера-

туры, для западных идей и политических партий в Советском Союзе. Терпимость — великая идея западной демократии. И если демократия — идея, а не выражение равнодушия и малодушия, то надо признать, что идея терпимости есть нетерпимая идея.

1951 г.

НА КЛАДБИШЕ В ЦФАТЕ

Рано утром, стоит выйти на шоссе, спускающееся вниз с горы Ханаан, глазу открывается неоглядная ширь. Прямо напротив лежит Ацмон, замыкая горизонт серо-желтым, как львиное тело, хребтом. Библейский пейзаж, куда вторглась моторная цивилизация двадцатого века. На дне провала — долина, в которую крутыми ручьями свергаются с гор асфальтовые дороги. Маленький зеленый автобус, как деловитый жучок, бежит по серпантину шоссе. Далекое жужжание мотора мешается с близким рыком осла. На горе справа — белые кубики с красными жестяными крышами: это новый поселок. Слева на зеленой высоте — Цфат. Над ним напротив — массивный куб укрепленного полицейского пункта с башнями по углам. В прошлом веке такое здание называли бы фортом. Все вместе — долина, и Цфат с окрестностями, и Ацмон — окружено кольцом еще более высоких и далеких хребтов: они, как волны, вздымаются вокруг Цфата, и белый туман на закате клубится между темными стенами гор Заиорданья. На юге — в глубокой впадине — синее Галилейское море*. Утром оно блестит и сияет в молоч-

* Галилейское море — библейское название озера Кинерет.

ной дымке, а вечером, когда оно тонет во мраке, далеко на горизонте зажигаются огни Тиверии.

Хорошо. Но гостям пансионов на горе Ханаан быстро надоедает любоваться пейзажем. Они приехали отдыхать в шезлонгах, на террасах, в салонах за игрой в карты. Танцуют, собираются в нарядных холлах (которые могли бы выглядеть так же в Отвоцке под Варшавой — и это большой комплимент для владельцев отелей), много спят и в меру скучают. Мы с вами не танцуем, в карты не играем... что нам делать? — Рано утром мы оставляем этот пресный мирок отдыхающих и скучающих и спускаемся "этажом ниже" — в Цфат.

Чтобы сократить спуск, мы не станем спускаться по шоссе к полицейскому пункту, а смело свернем под гору, наперерез серпантину. Скачем по камням, нога скользит, но зато, добравшись до отвесного края и прыгнув на шоссе, мы оказываемся на полпути к цели. Еще четверть часа — и мы в Цфате.

На узких улочках толпятся туристы, их сразу можно узнать по внешнему виду — заграница! — редкие арабы в белых абаях, друзья в черном и худые, как сушеная фи́га, йемениты. Румынские вывески свидетельствуют о происхождении новых эмигрантов, заселивших город. Всюду слышен идиш. Темные переулки, примитивные хижинки, развалины, ступени, погребки, где люди гнездятся в нищете и тесноте, — все напоминает мне далекое детство: глухие жалкие местечки Западного края в царской черте оседлости. Есть в Цфате особая живописность горбатых переулков и хижин, построенных амфитеатром, прохладных сводчатых келий, где вечерами горят лампы из кованой меди, есть крутые горные тропы, днем залитые ослепительным солнцем, и не случайно туристу из Испании вспоминается Андалузия: эту живописность оставили в на-

следие арабы. Евреи после войны заселили Цфат и цивилизуют его понемногу, но следы недавнего арабского присутствия всюду: в минарете за горой, в фиговых деревьях, на тропах и могилах старого арабского кладбища.

Бог с ним, с пейзажем старого Цфата. Я не художник. Для художников Цфат полон особого очарования. Многие из них живут здесь годами, и поэтому, кроме кислого винограда и яблок, можно купить в Цфате металлопластику Арье Мерзера, пейзаж Френкеля или Бергнера... Но ателье и синагога Ари, родина кабалы и колыбель свода "Шулхан арух" не интересуют меня в это утро... Дальше, дальше, спустимся еще этажом ниже.

А там лежит старое кладбище. По длинной каменной лестнице сходим к подножью горы, на которой стоит Цфат.

Здесь особый мир, мир святого молчания, необозримое поле каменных плит, огромная пасека, над опустелыми ульями которой не кружатся пчелы, и сухая горечь смерти окутала окрестность. Постепенно мы сходим в царство мертвых. Переулки, полные звуков и шорохов, уступают место развалинам, грудам камней, разоренным норам, где раньше жили люди, а теперь только ящерицы скользят и пропадают в расселинах дороги. Кладбище видно издалека. Оно заброшено, ослик пасется на краю, и козы бродят среди могил. Только одна его часть напоминает об опеке живых, и мы входим туда через калитку в стене, сложенной из цельных камней. Это военное кладбище погибших при освобождении Цфата четыре года назад. Здесь зеленеет трава и цветут цветы. Но несколькими шагами ниже — ни следа зелени, ни деревца, ни тропы, ни знака... Мы одни. Только женщина плачет далеко внизу, так далеко, что мы не видим ее за крутым спуском. За-

чем она плачет? Мертвым не надо наших слез, и если бы мы могли преодолеть свое горе, свой страх и боль разлуки, мы поняли бы, что ничего страшного в небытии нет: страшно только жить, не зная, зачем нужна жизнь и кому нужно, чтоб человек мучился и плакал над гробами.

И вот мы у цели нашего путешествия. Семь одинаковых могил, три — в стороне, четыре — уступами один над другим по склону горы. На каменистой почве невысокие каменные плиты, и на каждой в изголовье небольшая наклонная плоскость, вроде пюпитра в синагоге, на который кладут молитвенник. Первый слева Яков Вайс, рядом Меир Накар и Авессалом Хавив. Четверо справа, сверху вниз: Алкоши, Дрезнер, Кашани, Дов Грунер. На всех плитах, кроме одной, бронзовый знак Иргуна и текст: "Натан эт нафшо лемаан амо веарцо беаава, бесаара убикдуша". — "Отдал жизнь за страну и народ с любовью, страстью и святостью".

На плите Дова Грунера лежит венок, высохший, как пучки жестких трав кругом; на ленте стерлись слова. Камень, камень и камень. Солнце жжет, глаз не может найти и следа человеческого присутствия в долине и в горах за нею. Безмолвие. И на могилах семи повешенных — текст, вырезанный в гранит:

"Песней свободы была их жизнь и смерть.

Доблесть их будет светить нашим детям
и внукам до последнего дня".

Сядем. Солнце жжет, и мы одни, совершенно одни, если не считать могил с их "песнью свободы". Плиты исчириканы карандашными надписями, точно скамейки в парке или книги в прихожей сановника. У меня нет карандаша, но я вынимаю свой "Паркер" и после минуты колебания кладу его на камень Дова Грунера.

Зачем?

Зачем вообще я пришел сюда?

Ни о чем не думая и без намерения, — повинуюсь закону таинственного притяжения. Это маленькое перо — мост между мною и внешним миром. Вот оно лежит на могильной плите, как малая птица, сложившая крылья. Прилетела издалека, пронеслась через все континенты, все века, в бурю и непогоду пересекла океан — и как мертвая лежит на камне. Смерть ли это или только усталость?

Еще сегодня я буду писать этим пером. Оно впитает зной и тишину кладбища в Цфате. Моя рука возьмет перо с могилы Дова Грунера, который сам никогда не писал... но если бы он мог взять это перо, что бы он сказал нам?

Я не знаю, зачем я здесь. Говорить с мертвыми, чтобы слышали уши живых? Или разговаривать с живыми у могил повешенных? Зной и одиночество смешали мои мысли... я смотрю в оцепенении на свою ручку, и мне кажется, что и сам я как бы умер вместе с Довом Грунером и его товарищами, я разделил их смерть... зато они вошли в мою жизнь. И дыхание их жизни тревожит мою поникшую от жары мысль, что, как птица, сложила крылья и не может подняться.

Мысль только пробует пошевелить крылом — и принимает форму вопроса. Я не в силах размышлять... Все, что я могу, — это спрашивать. Можно спросить? — Можно спросить кости Дова Грунера?

Я спрашиваю вас — Вайс, Накар и Хавив. Я спрашиваю вас — Алькоши, Кашани, Дрезнер. Нет, я еще не сошел с ума... Мертвые не отвечают, тем не менее спросить можно. Бывает, что живые молчат как мертвые, — то ли им нечего сказать, то ли они не слышат и нельзя их заставить слушать... Есть молчание мертвых, которое я предпочитаю пустым речам

живых. Есть молчание мертвых, которое различимо и в шумной толпе, стоит только прислушаться сердцем.

Семеро повешенных, что вы сделали?

При жизни вы были пасынки своего народа и такими остались после смерти: и деревца не посадили на вашей могиле. Одно короткое мгновение о вас помнили, когда вы были газетной сенсацией, — а потом забыли. И даже в те дни, когда о вас помнили: кто скажет, чего было больше в интересе, которым отозвался народ на железную волю Дова Грунера и упорство его товарищей, — любви и сердечного участия или удивления, смешанного со страхом, которое испытывает толпа при виде кровавых и страшных зрелищ?

Однако для этого народа вы готовы были умереть. Вы отдали жизнь за народ и страну, как выбито на камне. Те, кто лежит на военном кладбище Цфата и на других военных кладбищах страны, тоже отдали жизнь за народ и страну. Но какая разница между вами! Они погибли на поле сражения, когда враг вплотную подошел к их домам. Они защищались, вы — нападали; их противники говорили по-арабски, ваши — по-английски; они были солдаты, вы — мученики. Разница между вами и ними — виселица и то маленькое слово, из-за которого ведется столько споров: революция.

Все, что вы сделали при жизни, было так незначительно: при жизни ваша воинская доблесть и сила не могли сдвинуть врага с его позиций. Это вы сделали своею смертью и тем, как вы ее приняли. Это была демонстрация, жест. И можно ли представить себе жест более сильный! Но то не была солдатская смерть. И справедливо — нет вам места на солдатском кладбище Цфата с его цветами и ухоженными газонами. Здесь ваше место: на скале, среди кам-

ней. Каждый из вас был камень, брошенный во врага.

Скажут: камни не тронутся с места сами. Кто-нибудь должен поднять их. Чья рука привела вас в движение? Жаботинского? Бегина? Или это была сила страдания, веры, стихийная потребность в действии, которая сдвигает горы и поднимает на воздух скалы? На миг содрогнулась земля, подземный огонь пробудился в ее глубине. Нет такой человеческой воли, которая бы могла это сделать. Это было стихийное явление в жизни народа, подобное извержению вулкана, и недолгое, как извержение вулкана.

Тихо на кладбище в Цфате. И только женщина плачет внизу, далеко под горою.

Кто вы были? Великие люди? Мужья науки и совета, дальновидные политики? Нет, право на бессмертие дала вам только ваша смерть, а не жизнь. И если бы вы остались жить, как сотни и тысячи ваших товарищей, из которых каждый мог бы быть на вашем месте, мне было бы скучно встретиться с вами. Нам не о чем было бы говорить. Я не люблю пережевывать жвачку воспоминаний, а вы, наверное, не были любителями литературы или философии. Кто знает, что вышло бы из вас. Один открыл бы торговлю и по вечерам играл бы в карты. Другой попался бы на шоссе с корзиной нелегальных яиц и двумя курицами. В лучшем случае вы бросили бы политику, а в худшем... Нет, все вы были маленькие люди, но когда маленькие люди делают большое дело, это и есть "история". Маленькие люди делают большую историю, и в свою очередь большая история рождает маленькое продолжение, серые будни, разочарование... Вы не были великими людьми и, наверное, не составляли планов спасения мира и революционных программ. Вы не смотрели далеко в будущее и не оглядывались на далекое прош-

лое. Пока идеологи атаковали "британский империализм", Дов Грунер атаковал укрепленный полицейский пункт в Рамат-Гане. И так лучше. Мира вы не спасли, и до спасения народа еще далеко. Жив и "британский империализм", несмотря на огненное красноречие ораторов, которые лучше владеют словом, чем оружием. Но полицейский пункт в Рамат-Гане занят евреями, и над ним развевается израильский флаг. И если бы я думал, что кости под семью плитами на кладбище в Цфате что-нибудь слышат, я бы передал им, что Акко взят, Рамат-Ган очищен от чужих. Я ограничился бы этой местной хроникой. Этого довольно!

Ибо устал я от спасателей мира и благодетелей народа, от сочинителей программ и основателей новых партий. Что случилось с национальным движением в Израиле? — Партийные политики существуют за счет вашей смерти и без конца возвращаются к вашим могилам, чтобы на них строить свое настоящее. Для этого не стоило умирать! Это была бы бесполезная смерть — ненужная смерть... Да и бывает ли вообще такая вещь — смерть из политического расчета? Разве только, когда деспот посылает на смерть бессловесных рабов в надежде, что это окупится, — тогда люди умирают по его политическому расчету, ради его планов. Когда добровольно и радостно идут на казнь, тогда в основании жертвы не расчет, не будущая выгода, не политический маневр. Тогда жертва — демонстрация веры и самоутверждение через смерть сейчас, в эту минуту и на этом месте, ради них самих.

Что же вы сделали, друзья?

За что вы отдали свою жизнь?

Ни воинской славы, ни политической победы, ни посмертного успеха... Одно, только одно удалось вам: вам принадлежало моральное первенство. В

те дни вы бесспорно были ведущей группой, ваше знамя высоко стояло над нацией. "Моральное первенство", "ведущая группа" — что это значит? — В жизни каждого народа — это решение большой проблемы, свет маяка для корабля в бурную ночь, знак, что есть гавань и есть дорога.

Было время, когда в диаспоре моральное первенство принадлежало людям не от мира сего — праведникам, "ламед-вавникам".

Было время, когда в Израиле моральное первенство принадлежало кибуцникам, халуцим. И они тоже были маленькие рядовые люди, но они и другие верили вместе с ними, что нет в Израиле ничего, что было бы нужнее и прекраснее их труда и их жертвы. Это моральное первенство они давно потеряли — не только тогда, когда сами перестали быть бедными, но раньше — в тот момент, когда преклонились перед сильнейшей державой мира и приняли и оправдали зло, которое эта держава внесла в мир и причинила их народу.

Тогда вы пришли — семь и пять — двенадцать повешенных, и не было в Израиле человека, который бы не знал, что ваше дело свято, душа чиста и дорога пряма. Через смерть, если надо. После смерти остается дорога, по которой шли молодые на виселицу, — и если дорога пустеет, как это кладбище, где я сижу на камне с поникшей головой, нет вашей вины в этом. Вы свое сделали.

Моральное первенство никому нельзя ни завещать, ни передать в наследство, как серебряный кубок. И нас не спасает ваша смерть — Грунер, Кашани и Дрезнер, Алькоши, Вайс, и Накар, и Хавив! С нами случилось несчастье, со всеми нами случилась беда: мы потеряли моральное первенство, мы растеряли в а ш е моральное первенство, и напрасно обещать награду тому, кто его найдет и принесет:

это не золотое кольцо и не удостоверение личности — этого не вернешь! Не стало в нашем народе людей, которых манит борьба за моральное первенство, за чистоту, за близость к правде. Мы стали теперь все одинаковые, во всех партиях, под всеми названиями — те же серенькие, запыленные и бессильные люди, которым не нужны ни ваш нимб, ни ваша ви-селица.

Беда, что ушли англичане из страны. На англичанах мы пробовали свое благородство и патриотизм, на них мы оттачивали свои высокие чувства. Нет британских поработителей, что делать? Не отыграть-ся ли на немцах? Как смеет Мапай брать деньги у немцев, встречаться с немцами? — Но немцы далеко: все кончается криком и типографской краской. Крик не обязывает ни к чему, а краска... она, быть может, пришла из Вены, австрийский товар, и тогда это в порядке, ведь против Австрии не принято партийное постановление "возмущаться".

Нет, на этой дороге мы тебя не догоним, Дов Грунер.

Или, может быть, евреи России? Кто-то слышал задушенный крик, кто-то видел руки, которые тянулись к нам из-за проволоки концентрационных лагерей. Откуда ты, Дов Грунер? Из Венгрии? А если бы ты прибыл из глубины Советского Союза, как другие, как твой товарищ Цви, русским именем — Игорь, через неделю после приезда на "Алталене" разорванный арабским снарядом на Русской площади в Иерусалиме?

Трудно говорить с адвокатами, Дов. Твое счастье, что ты с ними не встречался... Они уже взошли на свою гору, и какой великолепный вид с их горы! Все видно: вот Египет и вот Трансиордания, вот Нил и вот Евфрат. Бродвей, Бразилия и Аргентина — всюду у них дела. Но Москва? Но Печорлаг? — "Моск-

ва далеко, — говорят они, — 4000 километров, и не угрожает нашей независимости”. Не стоит воевать из-за тех далеких евреев с этими близкими евреями, которые вернули в Сион звезду Востока, звезду о пяти концах. Война с ними — ”не наша” война. Главное — нейтралитет. Лагеря в Сибири — отдельно, и мы — отдельно. И если завтра обрушится потоп на наши головы, — тем больше оснований не нарушать мира сегодня, пока есть мир. Сегодня у нас довольно своих забот, важных гражданских забот. В стране коррупция, монополии: у одних много, у других — мало; у одних власть, другим — обидно; у одних партийный дворец, а другим тесно. Одним достаточно того, что есть; другие живут тем, что было, воспоминаниями о подполье, и без конца предъявляют счета за прошлое, когда им приходилось скрываться. Было время, когда в этой стране скрывались. Одни скрывали оружие, другие — свои симпатии. Сегодня им нечего скрывать. Сегодня они все вывернуты наизнанку, и каждый видит, из чего они сделаны. Дешевый материал и много ваты в подкладке.

Золотые книги хранятся в Иерусалиме, а железные — в Тель-Авиве, но в жизни преобладает вата. Вата в речах и в мыслях, вата в программах и вата вместо мускулов. Из ваты изготавливают идеалы, резолюции, передовые статьи. Это не порох — не взорвется, не камень — не ранит. Толстым слоем ваты задушен, заглушен крик, который рвется из сердца. Что можно сделать с этими благовоспитанными, мягкими, вежливыми людьми? Можно убедить вату? Можно изваять памятник из ваты?

Как часто я стоял в толпе и слушал голос, звучащий в мегафон... и постепенно, через крик, через слова, которые клубились и падали, как разорванные клочья, рождалось во мне подозрение...

Неужели?.. Я оглядывался и видел сосредоточенные лица, напряженное внимание... Возможно ли, что они не чувствуют, не замечают, что все это вата?.. Из чего же они сами сделаны, в конце концов?

Не из ваты простой человек. Просто стыдно ходить нагишом, стыдно обнажить свою настоящую духовную природу: он подкладывает вату в свою одежду, чтобы плечи были выше, грудь шире — он фальшивый ватный герой. Его оправдание: "Мой сосед не лучше меня".

Здесь, в земле, подо мной лежат сухие кости. Плоть сошла с них, все сошло, и осталось только имя на каменной плите. Мы бедные люди, Дов Грунер, мы бы сделали мумию из тебя, положили бы под стекло, как на Красной площади в Москве, и показывали бы по билетам. Мы бы тебя переработали в вату. Накладные плечи — полезная вещь. На глаз выглядит неплохо, если не проверять на ощупь. Мы бы выстроились, как фаланга богатырей: плечом к плечу. Каждый уверен в себе и еще больше — в своем соседе. Никаких сомнений, все из лучшей партийной ваты.

Беспартийной ваты, универсальной ваты. В конце концов, наступает момент, когда фабриканты небытия начинают считать ватой все, чего у них нет: Свобода! Демократия! Человечество! Сионизм! Запад! Восток!— вата.

К черту их. Сядем и подумаем, что нам делать.

Солнце жжет, и кладбище пусто. Даже осел, который щипал траву на краю, тоже куда-то пропал. Ничто не нарушает нашего одиночества, и времени у нас довольно.

Гонг зовет в это время к обеду на горе Ханаан, и гости сходятся в столовую пансиона. Облака плывут по небу: стерильное подобие туч, из которых напрасно ждать дождя.

Где же выход из положения? Что можно сделать, товарищ "Паркер"?

Нужны десять человек. М и н ь я н. Маленькая группа людей, которые сами не превратились в вату и не превращают в вату все, к чему прикоснутся.

Это не должны быть ученые люди. И не пророки. Просто — люди, которые что-то в жизни пережили и поняли.

Это не должны быть люди с общественным положением. Кто имеет общественное положение, тот не рискнет делать странности. Но есть ли бóльшая странность, чем искать моральное первенство в стране, "поедающей детей своих"?

И как вернуть моральное первенство? Дов Грунер не занимался духовным самоусовершенствованием, когда записался в Иргун. Просто... накопело в сердце после разочарований, оскорблений, катастрофы в Европе. Бевин и Баркер — это уж было слишком. Нельзя же, чтобы без конца одни разочарования и поражения. Молодость не останавливается на горечи, на ожесточении и озлобленности. Молодость хочет верить, бороться. Молодость — это упрямая вера в силу жизни, силу протеста. Молодость — самое моральное состояние человека. Молодость не испугается жертвы: это путь к моральному первенству.

Десять молодых. Это много? Десять молодых, которые будут действовать не из чувства горечи или мстительности, а с радостью готовы будут помериться со злом, бросить вызов загнившей и протухшей среде.

И это не должны быть спасатели народа.

Народ в своей стране, в условиях политической самостоятельности, пойдет той дорогой, которую укажут обстоятельства. Если не будет мяса, будет есть хлеб. Если не будет вина, будет пить воду. Если не будет бензина, будет ходить пешком. Если кончится терпение, — прогонит вождей. До сего дня у него было терпение. Не

заботьтесь о народе. Не заботьтесь о чести народа. Нужен десяток молодых, которые позаботятся о своей собственной чести, — о том, что они сами делают сегодня и должны сделать завтра.

1952 г.

МАЛЕНЬКАЯ ОДИНОКАЯ СТРАНА...

1

”Маленькая одинокая страна” — этими словами кончается статья о Государстве Израиль одного из иностранных корреспондентов в Тель-Авиве.

”Маленькая одинокая страна”... Но когда стоишь на площади Муграби в потоке уличного движения, среди шума и грохота, то легко забыть, как видят чужие глаза. Центр Тель-Авива выглядит, как центр нормального европейского города, и трудно поверить, что в нескольких километрах отсюда начинается пустыня и стоят вооруженные силы смертельного врага. Если наша национальная территория мала, можно утешить себя тем, что мы велики в другом смысле — прошлой культурой, упорством духа и волей к жизни. Но почему же мы так одиноки? Что дает повод иностранцу говорить о нашем одиночестве?

Разве нет у нас друзей во всех странах Европы и Америки? Разве миллионы евреев, рассеянных во всем мире, не образуют периферии этой маленькой страны? Разве не развевается наш флаг в полукруге флагов Объединенных Наций?

В памяти встают эпизоды недавнего прошлого. Трумэн принимает из рук Вейцмана свиток Торы. Громько держит знаменитую речь на форуме наций. Из французских портов и чешских аэродромов отходят на помощь стране, отражающей натиск врага, транспорты оружия. Добровольцы стекаются на помощь. Сотни тысяч людей во всем мире приходят в движение. Есть ли еще страна, которая была бы так связана с внешним миром нитями интересов, расчетов, планов и комбинаций, как наша? Так ли мы одиноки в самом деле?

Разное бывает одиночество. Прежде всего одинок человек, на которого никто не обращает внимания. В этом смысле еврейский народ никогда не был одинок. В 1941 году сотни тысяч людей, отрезанных от мира стенами Варшавского гетто, не были одиноки. Они были бы счастливы, если бы окружающий мир забыл о них. Но ни на секунду они не могли выйти из круга деятельной ненависти, которая готовила им смерть. Мы, в нашей маленькой стране, тоже не можем пожаловаться на недостаток внимания к нам со стороны соседей, близких и далеких. Не в этом смысле можно говорить об одиночестве Израиля.

Но есть еще другой смысл слова "одиночество". Одинок тот человек или народ, который не в состоянии привлечь к себе прочной симпатии окружающих. Есть мнение, что между народами вообще не бывает симпатии и любви. Кто любит итальянцев или китайцев? Партия Ашомер ацаир хотела нас уверить, что она любит арабов, но это очевидный нонсенс или даже ложь. Арабы не поверили лозунгам Ашомер ацаир и были правы. И когда в ответ на лозунг об "ахават амим" ("братстве народов") выступил Ури-Цви Гринберг с его горячим призывом к еврейскому народу: "Любите друг друга — любите великой любовью", — кто не почувствовал в этих словах великого одино-

чества народа, который выпал не только из "ахават амим", но из всяких нормальных международных отношений?!

Ибо нормальные международные отношения не строятся на сантиментах, на трактатах и параграфах, на взволнованных переживаниях, — но на голом цинизме и холодном расчете. И если у нас так мало искренних друзей на свете, то это объясняется тем, что мы действительно не имеем правильного подхода к народам мира. Либо мы их "любим" — до самозабвения и потом наступает разочарование, как у немецких евреев и других ассимилянтов, либо мы с ними играем в холодную и скверную игру, без внутренней близости и уважения к их святыням. Кто еще, как еврей, умеет плевать на то, что лежит в основании жизни окружающих народов? Две тысячи лет галута образовали пропасть между нами и миром, и не легко перебросить мост через нее.

Мы — маленькая одинокая страна прежде всего по своей собственной вине. Для всего есть объяснение, всему можно найти причины. Но раньше следует установить факты, и я думаю, что есть в нашей жизни такие факты, которые надо устранять, и это важнее, чем объяснять их. Среди этих фактов я нахожу болезнь поколения: холод сердца и сухость мысли — плачевную неспособность еврейского духа охватывать те исторические реальности, от которых он был искусственно отделен две тысячи лет.

Когда вы читаете в нашей "левой" прессе о еврейском "фашизме", знайте — это ложь. Было время, когда некоторые еврейские деятели ориентировались на фашизм, думая, что так будет лучше для евреев. Но фашистами они не были, потому что фашизм — это вера, а сердце этих людей было холодно, как лед. И когда те же самые люди убедились, что фашизм разбит, а на его месте цветет коммунизм, они с такой

же легкостью начали улыбаться Сталину. Сердце и мозг их пусты. Их просоветская ориентация стоит столько же, сколько флирт с Муссолини. Они не коммунисты и не фашисты. Они бедные одинокие люди в мире великой вражды, которые хотели бы иметь немного счастья в этом мире, немного успеха. Они еще не овладели секретом большой политики, не поняли, что история строится не на цинизме, а на великой верности универсальному идеалу.

Если вам скажут, что у нас есть коммунисты — не верьте, это ложь. Есть у нас партия Мапам, есть коммунистические деятели, есть люди, которые хотят "дружбы" с Советским Союзом, но все это — по расчету, как карточные шулеры, которые думают, что обманут своего партнера. Они его не обманут. Советский Союз их любит так, как они любят Советский Союз. И нет более одиноких, более несчастных и более залгавшихся людей в нашей стране, чем эти господа, которые выдумали себе идеалы и боятся посмотреть в лицо фактам.

И когда я говорю себе и другим, что существует в мире западная демократия, и мы, евреи, у себя на родине принадлежим к ней, составляем ее часть, я понимаю, какой силе я бросаю вызов — одиночество галута становится на дыбы. Стать на сторону демократии — ведь это внутреннее обязательство! Ведь это — мобилизация на фронт мировой истории. Это против всей традиции галута. Евреи, которые живут в Париже, издеваются над западной демократией в своей ежедневной прессе. Евреи, которые живут в Москве, не имеют права писать о том, что они думают о советском строе. Евреи в Израиле имеют это право, но не хотят. Только бы не принять решение, только бы остаться в стороне от истории! Спросите у людей, которые у нас играют в политику: уважают ли они западную демократию, культуру Запада, свободу За-

пада? Они ответят — нет! Ненавидят ли они Запад? — тоже нет. Каково же их отношение? Никакое. То же и с коммунизмом, и с фашизмом (если они не угрожают прямо). И есть фраза, которой в этом случае прикрывают равнодушие: "Для нас существуют только интересы нашей родины".

Откуда же вам знать, в чем интересы родины, если вы потеряли компас в море истории и не знаете своей конечной цели? Конечная цель — это свободное демократическое государство в исторических границах в свободной и демократической Европе. Если вы только одно слово пропустите в этой формуле — вся она потеряет смысл. Без свободы нет демократии. Без демократии, в западном, европейском смысле этого слова, нет еврейского государства — ни в границах Халуки (раздел страны в 1947 году), ни в исторических границах. Куда вы нас ведете, господа? В Европу или из Европы? Что в вашем сердце? Любовь к свободе или холод ниже нуля? Действительно ли вы хотите остаться чужими всем великим идеям настоящего и будущего?

Когда я разговариваю с некоторыми "вождями" нашего времени, я вижу, что они, в сущности, ничего не любят, ничего не ненавидят, ничего не уважают и ничего не хотят, кроме успеха и власти. А потому они и не удостоятся успеха, и движение, которое им доверится, потеряно.

2

Сделаем краткий баланс.

Державы и силы нашей эпохи относятся к нам со справедливым и заслуженным недоверием. Единственное, что их дипломаты признали за нами, — это право на государство Халуки, т. е. на компромисс с арабами. И это признание тоже не наступило бы, если бы не кровь, жертвы и фанатизм нашего подполья. Советс-

кое правительство справедливо не доверяет сионистскому государству: что общего между коммунизмом и сионизмом? Правители западных государств относятся с глубоким недоверием к политикам, основу поведения которых составляет хитрость и беспринципность. Заграничные евреи не доверяют нашему правительству. Внутри государства одна партия не доверяет другой. Мы живем в атмосфере всеобщего недоверия.

Люди, которые вчера были "профашистами", а сегодня стали "прокоммунистами", не принимаются всерьез никем ни на Западе, ни на Востоке. Люди, которые атакуют американский империализм, возмущены стремлением американского правительства ослабить нас. Пусть эти критики поставят себя на место западных министров: дали бы они средства государству, позиция которого по отношению к Западу двусмысленна? Создалось положение, в котором мы крайне подозрительны для всех без исключения. Это — причина нашей настоящей и трагической изоляции во всем мире.

Дружба — дело взаимное. Мы так много говорим о взаимности, что забыли: не могут требовать дружеского отношения к себе люди с пустым сердцем, без убеждений, не демократы и не антидемократы, люди, которые укрылись в глубокой политической и духовной провинции и ждут оказии, чтобы что-нибудь выгадать на международном рынке. "Пропустили оказию!" — ходячая фраза у нас. Мы наверное пропустили много okazji и еще пропустим, пока не научимся правильному подходу к проблемам современности. Серьезно и с уважением относятся к людям веры. К политическим спекулянтам относятся с иронией и осторожностью.

В прошлом были у нас Шломо Бен-Йосеф и Дов Грунер. Они не были циниками, и у них было за что

умереть. А теперь наши ”программы” — набор гладких и неискренних слов. За них никто не пойдет на смерть. За них даже к избирательной урне поленятся пойти.

Отвратительны и вызывают тошноту люди, которые между собой говорят одно, а с общественной трибуны — другое. И если мы хотим, чтобы изменилось к нам отношение на Западе, надо искоренить ложь и лицемерие в нашей жизни.

Можем ли мы быть друзьями Запада? От ответа на этот вопрос зависит наше будущее. Для примитивных негров в Центральной Африке Запад — это полицейский с палкой и товары, которые они сами сделать не могут. Запад для них — грубая внешняя сила эксплуатации. И только на высшей ступени европейского образования они начинают понимать, что Запад — это сила общественного мнения, идея свободы и наука. Дорога к освобождению ведет через школу западной культуры. Наши домашние недруги Запада часто стоят на уровне дикарей. Запад для них — это английское, американское или французское правительство, министр колоний или Уолл-стрит. Западная ориентация для них — подчинение политике Лондона, Парижа или Вашингтона. Такое понимание свидетельствует о глубоком недоразумении. Запад — это народы, с которыми мы хотим жить вместе; идеи, которые общи нам и этим народам. Западная ориентация — это преодоление одиночества не через отказ от нашей самостоятельности, а через скрепление политических, культурных и экономических связей. Западная ориентация ни в чем не затрагивает наших национальных идеалов и не превращает нас в сателлитов Америки. Те, кто зовет на Восток, с его диктатурой и нетерпимостью, зовут нас к потере самосознания.

Лозунг ”лицом к Западу” означает отклонение просоветской идеологии, сопротивление монополизации и регламентации хозяйства и культуры, корни

которых на тоталитарном Востоке; планирование не по-советски, а по американскому типу (где частный капитал не рассматривается как враг народа), открытые двери и мир, свободный выезд и въезд, максимальное облегчение кругооборота товаров; максимальный либерализм, свобода инвестиций, свобода строительства; готовность к политическому сотрудничеству с Западом, без малейших уступок в нашей национальной программе, развернутая пропаганда на Западе, умелое разъяснение нашей позиции всем тем кругам, которые до сих пор не знают, чего мы хотим.

До сих пор только "левые" испытывали у нас потребность вырваться из круга одиночества. И как они это делали? С помощью лжи, потому что идея "ахават амим" остается иллюзией, пока она обращена к Востоку. На Востоке молчат народы, и от их имени говорят правительства. Там у нас друзей нет. Там сионизм считается политическим преступлением, запрещена алия, подавлен иврит. И все-таки многие в нашей стране соблазняются иллюзией дружбы с Востоком, потому что одиночество невыносимо, и они ищут утешения хотя бы во лжи. Однако ложь еще никого не спасла. Если есть у нас что-либо в этой стране, — то благодаря Западу. Сотрудничали ли мы с ним или боролись, принимали помощь или спорили — всегда был перед нами Запад. Как птица не может жить под водой, так еврейский народ не может ни жить, ни дышать на советском Востоке.

Первое условие политического обновления — откровенность. В стране стало трудно говорить правду. Политический парадокс нашего времени состоит в том, что люди, которые борются против политической изоляции, — сами одиноки в среде своего народа. "Маленькая одинокая страна" боится дать им свободу слова в своей прессе и литературе. Но мы верим, что логика исторического развития окажется сильнее,

чем традиция галута. Придет время, когда мы, смотрящие на Запад, не будем одиноки в своей стране, и наша страна не будет одинока в мире.

1952 г.

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

Герцль скончался молодым, в сорок четыре года, от разрыва сердца. От разрыва сердца скончался также Жаботинский, шестидесяти лет от роду, когда ничто не предвещало близкого конца. Внезапно или безвременно погибли оба только для внешнего ока. Усталое сердце давно болело втайне, истерзанное вечным напряжением, отравленное горечью многолетних разочарований. Сердце разбилось, как птица в полете, о глухую стену, преградившую путь.

Год 1932. Последнее десятилетие перед массовой гибелью. Воды потопа уже поднимаются — в Германии, в Польше, в России. В Праге заседает Семнадцатый Сионистский Конгресс. Жаботинский апеллирует к Конгрессу со страстным отчаянием человека, пробующего сдвинуть с места вековую громаду. Это попытка зажечь костер из сырых дров. После речи Жаботинского (она и тридцать лет спустя кажется такой ясной в своем упоре: поймите, что без еврейской государственности все, что вы строите, — лишено основания, стоит на песке. Скажите честно себе и другим, что вы хотите еврейского государства и боритесь за него, пока не поздно!), после этой пламенной речи берет слово старый еврей Менахем Усышкин. Его ничем не

прошибешь. Снисходительно хвалит он пафос и горячность Жаботинского, но высказывается против всяких "бумажных резолюций" и постановлений. Зачем эти слова о государстве, о праве на независимость, когда и так каждый верующий еврей повторяет ежедневно, молясь: "Обнови наши дни, как издревле — хадеш ямейну кекедем". Сырые дрова не горят. Политическое требование заглушается набожным молитвенным бормотанием. Тридцать лет спустя, читая протоколы сионистских конгрессов, все еще чувствуешь горечь во рту и тоску — против невыразимой, непреодолимой, беспросветной тупости обреченных.

В этом году Жаботинскому исполнилось бы 80 лет. Если бы не разбилось сердце, он был бы в ряду бодрых и крепких верой стариков, излучающих авторитет, окруженных уважением врагов и друзей. Такими на закате их жизни были Клемансо во Франции, Черчилль в Британии, Аденауэр в Германии. Если бы это сердце не разбилось, многое выглядело бы иначе в сионистском движении. Он один имел силу удержать своих последователей от ошибок, которые мы видим, не умея их поправить.

Что изменилось бы в еврейском национальном движении, если бы Жаботинский дожил до наших дней? Попробуем наметить ряд пунктов, где его отсутствие оказалось фатальным.

Прежде всего — не было бы этой странной партии Херут, выросшей из подпольной боевой организации, и еще более — из большого политического недоразумения. При жизни Жаботинского никто из его учеников не осмелился бы ликвидировать созданную им партию, лишить ее как имени, так и содержания. Когда в 1948 году возникла в Израиле новая партия, казалось, что речь идет только о смене имени и смене руководящего слоя. Молодые подпольщики заслужили боевые шпоры, старики должны отступить. Но не

прошло много времени, как выяснилось, что Херут — не продолжение движения Жаботинского, а некое "новое начало".

Пафос деятельности Жаботинского был пафос сионистский, в сфере его зрения был весь еврейский народ. Обращаясь к массам, которым угрожала гибель в восточной Европе, он был рупором миллионов. Можно ли представить себе Жаботинского в 1948 году, едва только была провозглашена независимость, объявляющим свою партию, по образцу Мапай, — отечественным движением, замкнутым границами Израиля? Можно ли себе представить Жаботинского целиком поглощенным вопросами внутренней политики, числом депутатов в Кнессете, муниципальными выборами? И это в тот момент, когда геноцид еврейского народа в новом варианте продолжается в восточной Европе?

В 1948 году были основания переименовать ревизионистскую партию, ибо к этому времени ревизия сионистского мировоззрения стала уже свершившимся фактом. Возникло еврейское государство. Но концепция Сионизма с большой буквы, гуманитарного сионизма, обязывала по-прежнему считаться с положением миллионов евреев в тисках антиеврейских режимов. Если бы Жаботинский был жив, Нахум Гольдман не стал бы символом и лидером мирового сионизма и не создалось бы положения, когда никакие слова, как бы сильны и возвышенны они ни были, не доходят до сердца молодежи.

Что же случилось за протекшие двадцать лет с основными принципами ревизионистского движения?

Между 1940 и 1960 годами был утрачен прежде всего принцип хад-нес, принцип единого знамени, в котором многие ошибочно видели проявление антисоциализма Жаботинского. Жаботинский не был антисоциалистом, он только был несоциалистом, так как в

сердце его не было места для двух идей. Жаботинский не раз отзывался о социализме с уважением, как об идеале, способном привлечь сердца, воспламенить молодежь. Он, однако, не допускал двойственности, служения двум знаменам, двум богам, двум идеалам, которые вместо того чтобы усиливать друг друга, ослабляли бы себя взаимно. Он хотел сионизма чистого, сосредоточенного на себе. Жаботинский не был фанатиком, он был способен к тому, что теперь называют мирным сосуществованием с людьми другого духа, но он был против смешивания. Примат политического сионизма не мешал тому, что в ревизионистском движении соединялись самые разные элементы — от раввинов до вольнодумцев и от либералов до людей, симпатизировавших фашизму. Ревизионистская уния с самого начала была задумана как межпартийное объединение. Причина, по которой она приняла характер антисоциалистической партии, заключалась в том, что социализм конца 20-х и начала 30-х годов затопил сионистское движение и угрожал изнутри изменить его характер в ущерб национальным интересам.

Принцип единого знамени означал самоценность и неделимость национального идеала, но он оказался не по силам преемникам Жаботинского. Как и социалисты, они ощутили потребность подпереть свой сионизм со стороны и нашли эту подпору в религиозной традиции и Торе. Жаботинский не был религиозным человеком, хотя и умел жить в ладу с верующими и оказывать им уважение, не отождествляя себя с ними. И мы можем сказать с полной уверенностью, что если бы Жаботинский был жив, принцип хад-нес обязывал бы его приверженцев как по отношению к "левой", так и по отношению к "правой" ориентации, и не содалось бы положения, когда из партии вышли люди открыто и принципиально светские и воцарилась атмосфера религиозно-мистического национализма.

Принцип хад-нес охранял при жизни Жаботинского движение от уклона влево, к марксизму-ленинизму, и вправо, к традиционно-религиозному мирозерцанию, и только после его смерти партия Херут стала открыто правой партией, где Танах низведен до роли партийно-политического документа, доказывающего право Израиля на все, что обещано ему Богом.

Рационализм Жаботинского уступил место чувству, не всегда искреннему и часто противоречивому, неутомимая логика — напыщенной декламации, последовательный национализм — религиозности, которая часто только поза. И когда в ответ мы слышим, что нельзя разделять сионизм и религиозность, ибо в основе это одно и то же, мы вспоминаем, что так же точно отвечали наши левые, для которых сионизм и социализм были и остаются неотделимы.

Практические результаты крушения принципа хад-нес мы видели, когда антикоммунисты выражали радость, что коммунисты захватили пол-Германии. Только цельные люди могут быть сильными людьми. При Жаботинском цельность была выражением чистого сионизма. При его "учениках" она достигается (если вообще достигается) возвращением к традиции предков.

Второй принцип Жаботинского, который был потерян, когда руководство движением перешло в руки партизан из Эцеля, — терпимость к чужому воззрению, великодушные сердца и та гибкость, которая позволяла соединять в движении самые разные элементы. И при жизни Жаботинского не обходилось без оппозиции, но демократизм движения был гарантирован, пока оппозиция находилась внутри движения и имела в нем возможность проявления. С образованием новой партии оппозиция в ней была подавлена. Новое руководство не умело и не хотело сохранить в ее рядах людей живой и самостоятельной мысли. Это развитие

в сторону тоталитаризма было следствием отказа от принципа хад-нес. И руководство, слишком слабое, чтобы охватить всех в рамках одного национального идеала, начало навязывать "генеральную линию" как раз в том стиле, против которого восстал в свое время Жаботинский.

Мы можем сказать с полной уверенностью, что Жаботинский никогда не принял бы того тоталитарного режима, который фактически изгнал из рядов национального движения интеллигенцию и сделал невозможным участие в нем для каждого самостоятельно мыслящего человека. Нельзя называть именем Жаботинского движение, в котором нет места писателям, ученым, мыслителям, нет элементарного понимания того, что такое идея и ее функции в общественной жизни.

С этим мы переходим к третьему принципу, который через двадцать лет после смерти Жаботинского улетучился из созданного им движения. Это — сознание культурной миссии. Обратим внимание, с какой внутренней неизбежностью наступает культурный упадок как следствие введения тоталитарной нетерпимости. В движении онемел творческий импульс, его писатели и поэты разошлись кто куда. Герцль и Нордау, Жаботинский и Вейцман были людьми культуры, ее активными деятелями. Культура, которой они служили, была европейской, не в том смысле, который противопоставляет Европу Азии или Африке, а в смысле универсальной, мировой культуры, которая из западного центра излучается на весь мир. Эта универсальность культурного сознания, широкая перспектива, уступила место равнодушию, когда стали раздаваться голоса: "Что нам культура Запада, еврейский народ стоит выше ее или вне ее, у нас собственные культурные сокровища, без связи с мировой историей". Таким образом, исчез тот универсальный горизонт, который

во времена Жаботинского еще не совсем был потерян из виду. "Что нам гоим, их споры, их проблемы и их дела?" — эта позиция, корни которой в средневековые и психологии отверженных из гетто, характерна для части еврейских ортодоксов, но когда она проникает внутрь национального движения, то ведет к устрашающей культурной бедности и бесплодию.

Мы можем сказать с уверенностью, что если бы Жаботинский был жив, то национальное движение не дошло бы до положения, когда, с одной стороны, оно не интересуется делами мира, а с другой — мир не интересуется им.

Мало того. За культурным бесплодием идет и политическое. Когда партия из всесионистской, то есть действующей в динамическом поле, на одном полюсе которого еврейство диаспоры, а на другом — Израиль, стала чисто израильской в стиле социалистической, другими словами, как только Херут локализовался на одном уровне с Мапай, стало самоочевидно, что он вступит в борьбу с этой партией за власть в стране. Борьба эта — чисто воображаемая ввиду отсутствия достаточной социальной базы в стране, и такой же мнимой является претензия быть оппозицией по отношению к правящей партии. Оппозиционной может быть партия, если у нее, как у Лейбор-парти в Англии или СД в Германии имеются реальные шансы прийти к власти. За отсутствием таковых притязание на функцию оппозиции иллюзорно. Политическое влияние партии Херут на развитие дел в стране равно нулю*.

Основная ошибка здесь снова заключается в отходе от здоровой позиции Жаботинского. Жаботинский не был оппозиционером и не соперничал с другими партиями. Он установил определенные позитивные цели, к которым должен стремиться сионизм, уста-

* Не будем обвинять автора в политической недалекости: статья написана в 1960 году. (Прим. ред.)

новил дорогу к этим целям — военное и национальное воспитание молодежи, политическое давление, не останавливающееся перед нелегальностью, он брал на себя то, чего не делали другие. Вспомним, что на прямой вопрос: "Чем отличается ваше движение от официального сионизма?", который был ему задан на заседании комиссии лорда Пиля в 1937 году, он не сказал, что обвиняет своих противников в измене принципам, в неспособности, в программных расхождениях, а сказал: "Мы их считаем недостаточно решительными". Другими словами, национальное движение во времена Жаботинского брало на себя задачи, которые были другими запущены, оставлены без внимания и понимания. В этом смысле оно было движением не альтернативным, а дополняющим, восполняющим пробел в деятельности официального сионизма.

Нет сомнения, что без конструктивного, муравьиного труда еврейское государство не было бы создано. Восстание групп Эцель и Лехи, несмотря на враждебность официальных учреждений Сионистской организации, было необходимым дополнением и вкладом в общее дело. После установления государства движение Жаботинского столкнулось с необходимостью заново определить свои политические задачи: не пытаться вырвать у противника власть, раз для этого нет реальных данных, а найти правильную точку приложения для своих сил и взять на себя те задания, для выполнения которых у других не было достаточной смелости или достаточного понимания мировой ситуации. Движение, называющее себя национальным, должно было понять, где главная опасность, угрожающая еврейскому народу, и восстать против нее как внутри страны, так и на международной арене.

И тут национализм-без-Жаботинского потерпел свое решающее поражение. В эпоху, когда судьба еврейского народа и Израиля решается в плане миро-

вом, не хватило сил на открытое сопротивление коммунизму. Вместо того чтобы искать контактов с евреями России, вместо того чтобы действовать словом и делом в стране, где миллионы братьев подвергаются чудовищному процессу физического и духовного насилия, вместо того чтобы на всем протяжении еврейского рассеяния воспитывать национальное сознание, выступили с лозунгами: "использовать оказию" и "правительство виновато". В эпоху, предшествовавшую второй мировой войне, Жаботинский учил "о двух берегах Иордана", и тогда это имело свой глубокий политический смысл, но, как видно, нужен новый Жаботинский, чтобы иметь мужество заново сформулировать программу движения в новой мировой обстановке. Легче было держаться старых слов, чем мыслить по-новому в новых условиях. И здесь впервые национализм после Жаботинского стал несерьезным, ибо несерьезен национализм, который в эпоху крайнего унижения, преследования и отчаянного положения народа, миллионами перемальваемого жерновом диктатуры, отворачивается в сторону и делает вид, что это его не касается. Сомневается ли кто-нибудь, как реагировал бы Жаботинский на бесправие этих миллионов, если бы был жив? Но в наши дни нашелся "ученик Жаботинского", который сказал: "Мы очень сокрушаемся, но что мы можем сделать?" Ну, если вы ничего не можете сделать, найдутся, в конце концов, другие, которые сделают. Это подмена политического поступка чисто эмоциональным всплеском: "Мы сожалеем, мы оплакиваем судьбу наших братьев, но это не относится к нашей политической деятельности", и это, как две капли воды, напоминает фразы противников Жаботинского в годы, когда он боролся за ревизию сионизма: "Мы сочувствуем идее еврейского государства, каждый еврей, понятно, всем сердцем хочет его... но в качестве полити-

ческого движения мы не можем позволить себе говорить об этом, а тем более действовать...” В эпоху Вейсмана позволялось мечтать, надеяться на то на се, начиная с еврейского государства и кончая мировой революцией, но дело было не в чувствах: сионистское движение в целом делало реальную политику по известным рецептам — строило Гистадрут, собирало деньги на фонды... Без Жаботинского национализм после 1948 года весь погряз в сфере демагогической эмоциональности, весь ушел в декларации и протесты. И тогда вместо антикоммунизма, который был опасен даже как чувство, потому что обращался против живого противника рядом, пришел антигерманизм, как запоздалое эхо гитлеровской ненависти к евреям.

Гитлер сконструировал чудовищную антисемитскую тезу и заразил ею половину немецкого народа; вина другой половины заключается в том, что она без сопротивления подчинилась диктатуре убийц и волеяневолей коллаборировала с ней. Но как могла ответственная политическая партия в Израиле согласиться с гитлеровским учением о том, что немцы и евреи — народы антагонисты? Жестокая боль непоправимого несчастья заставляет не только членов партии Херут видеть врага в каждом немце. Во всех, без исключения, партиях имеются люди, для которых каждый немец — наци, а каждый наци — немец по духу. Это их душевная реакция, которую надо уважать... но только одна партия в Израиле провозгласила принципиальный антигерманизм. Здесь мы говорим не о чувствах, которые в большей или меньшей степени свойственны каждому еврею, а о политическом употреблении, которое было из них сделано. Последовательный сионизм в данной исторической ситуации означает резкую оппозицию коммунистической идеологии и политике в их антиеврейских аспектах. Так как этого признать не хотели, то надо было дать массе

последователей другой предмет ненависти, эрзац антикоммунизма. Этот эрзац нашли в абсолютном антигерманизме и объявили священную войну немецкому народу не в качестве носителя нацизма и только в той мере, в какой его массы действительно проникнуты идеей нацизма, а в качестве народа, абсолютно и безусловно, не считаясь с данной политической ситуацией.

Усвоив себе эту чисто внешнюю истерическую позицию, движение Херут оказалось в противоречии с жизненными интересами еврейского народа. Эта позиция несовместима с интересами Запада, который стремится к объединению европейских государств перед лицом советского гиганта, и в то же время она не в состоянии привлечь к Израилю советских симпатий. Антигерманизм противоречит советской политике не менее, чем американской или французской. Эту позицию нельзя охарактеризовать как нейтралистскую. В терминах внешней политики нельзя вообще найти для нее определения... Психологически она объяснима ментальностью людей, душевный мир и историческое понимание которых застряли на эпохе тридцатых годов. В тридцатые годы главными противниками были: в стране — Мапай и Гистадрут, в Европе — Гитлер, а панарабизм и коммунизм находились вне поля политического зрения.

Если бы Жаботинский встал из гроба, он спросил бы своих "учеников":

— Что вы делаете, господа? Неважно, кого вы ненавидите, кого вы почитаете. Неважно, о чем вы мечтаете. Важно, чем вы занимаетесь. Я воспитал поколение молодежи в сознании, что сионизм — опасное дело, требующее немедленной активности, крайнего самопожертвования. И сам я был просто евреем, без гражданства: израильского, американского или советского. У вас теперь израильские паспорта, я вас поздравляю, но чем вы, собственно, занимаетесь?

Двадцать лет после смерти Жаботинского мы можем сказать, что он похоронен дважды.

Тело покоится в Нью-Йорке, а дух похоронен в Израиле. При всем том заслуга партии Херут заключается в том, что она поддерживает, по крайней мере, культ его имени и не дает забыться его памяти. В Тель-Авиве существует прекрасный институт — музей его имени, где собраны материалы, относящиеся к его жизни и деятельности. Изданы на иврите его сочинения во многих томах. Вышла трехтомная биография Жаботинского на иврите, написанная его соратником И. Шехтманом. Все это достойно его памяти, как и колония его имени за Бенъяминой и улицы, названные в его честь в городах Израиля. Лидеры движения Херут сделали много для увековечения его памяти. Они дали Жаботинскому почетный титул отца мятежа (ави га-меред), и так как Херут неоспоримо дочь мятежа (бат га-меред), то получается, что Жаботинский приходится ей дедушкой. Можно гордиться таким дедом. Но что будет дальше?

Сионизм неистребим в еврейском народе, пока существует, с одной стороны, галут, а с другой — Эрец Исраэль. Сионизм в духе Жаботинского означает национализм без мелочности, без атмосферы политического бизнеса, без фанатизма и сектантства, но интегральный, охватывающий все концы еврейского рассеяния идеей служения народу. Источники еще не иссякли и еще довольно крови в жилах нашего народа. Неважно, будут ли называться люди, которые вернут дух Жаботинского в массы, его учениками или внуками. Достаточно, чтобы они были его братьями по духу, из той породы смелых, внутренне свободных и вечно молодых, которая одна в состоянии поднять сионизм к новым высотам.

1960 г.

